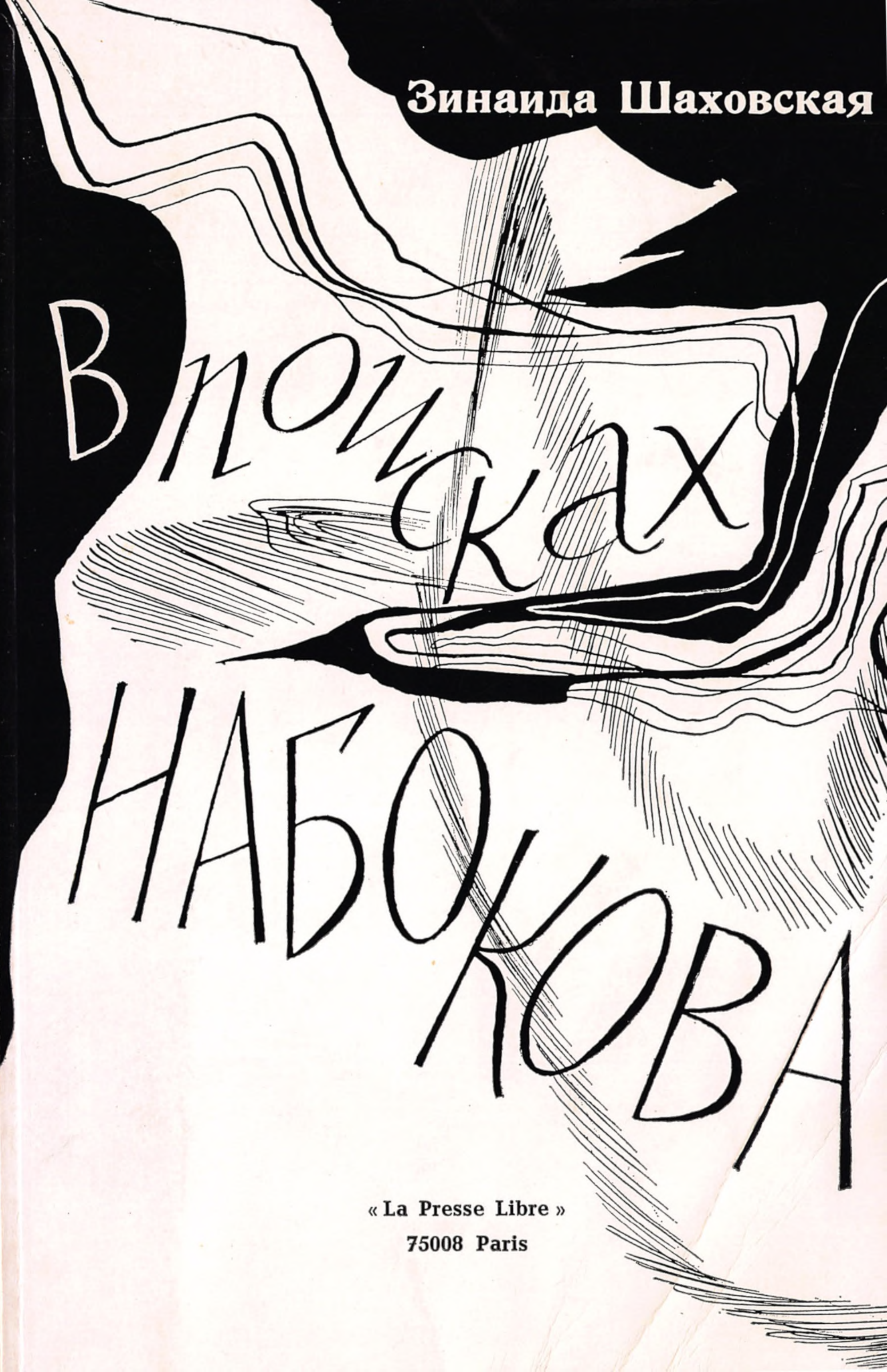

Зинаида Шаховская
В поисках
НАБОКОВА
« La Presse Libre »
75008 Paris

Зинаида Шаховская

В ПОИСКАХ НАБОКОВА

Обложка СТАРИЦКОЙ

« La Presse Libre »
217, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
1979

25 экземпляров этой книги
отпечатанные на
веленевой бумаге
и пронумерованные
от 1 до 25 составляют
ее оригинальное издание.

Приношу искренюю мою благодарность всем, кто помог мне своими воспоминаниями о Владимире Набокове и позволил мне включить имеющиеся у них фотографии в эту книгу, проф. Ренэ Герра, давшему мне возможность ознакомиться со сборником «Гроздь» и указавшим некоторые нужные мне даты, а также Н. Д. Шидловской и В. А. Допера, много потрудившихся над рукописью этой книги.

З. Ш.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Я тороплюсь написать эту небольшую книгу пока годы не заслонили от меня живого Набокова, пока шествует еще «путем своим железным» век, который был и его и моим веком, пока Россия его и моего детства кое-как еще мерцает в моей памяти через все уродливые наслоения, засыпающие ее уже шестьдесят лет. Мало осталось людей, знавших молодого Набокова, бывших свидетелями его появления в русской литературе, его восхождения к мировой славе. Еще меньше осталось людей, бывших с ним в близких и дружественных отношениях — думается, их никогда не было очень много. После славы и фортуны, ею принесенной, поклонников у Набокова стало не счесть, друзей — может быть меньше чем раньше.

Читая статьи и книги, о нем написанные за последние двадцать лет его жизни, интервью, им данные, удивляешься, и делается как-то не по себе. Почти все они показывают не только уважение, которого его талант вполне заслуживает, но и какое-то подобострастие — как будто вопрошающие и пишущие не стояли, а предстояли, и не перед писателем, а перед каким-то тираном из тех, которых сам Набоков ненавидел. Казалось, что и самому Набокову

в последние годы нравился этот страх перед ним и что он старательно выращивал для любопытных маску, собственной ли волей или по чьему-то совету надетую.

Любитель не только парадокса, но и мастер камуфляжа, запутыванья следов, нагромождающий камни преткновения перед своими исследователями, он как будто и посмертно желал бы ускользнуть — как личность — от любознательности или любопытства следующих поколений. С радостью бы уничтожил, думается мне, все свидетельство о нем, кроме своего собственного — литературного, или, может быть, жены, ставшей за долгие годы его alter ego.

Я принадлежу к тем, которые верят, что жизнь писателя неотделима от его творчества, что они необходимо складываются вместе как «пузэль» и что нельзя понять его произведения, игнорируя его биографию.

Как представить себе или объяснить себе творчество Достоевского, не приговоренного к смертной казни, не бывшего на каторге, не страдавшего от падучей?..

Это не литературоведческая работа, никакой системы в моей книге искать не надо *). Но задумала я ее уже давно. Как ни странно, хотя мне привелось в жизни встречаться с самыми известными писателями, и русскими и иностранными, ни о ком из них меня не соблазняло написать книгу. Почему же о Набокове? Конечно не только потому, что он был моим

---

*) Утешаюсь шутливым замечанием одного американского писателя: «Методология — последнее прибежище непродуктивного ума».

современником и что я его знала лично, и не только потому, что он необыкновенно одаренный писатель, но потому что Набоков загадочен, что он бросил вызов своим читателям и почитателям, загромождая к себе доступ и расставил ловушки для исследователей: « Let the visitors trip » — пусть посетители спотыкаются.

Отыскать знакомого мне Набокова под разными личинами, на него им самим надетыми, было уже не так трудно, вехи он все-таки ставит, автобиографические данные и личные признания проблескивают под всеми масками, через вымышленное мелькает и подлинное, даже то, что он скрывал очень тщательно. Недаром у Себастьяна Найта «была странная манера награждать даже самых гротескных своих персонажей одной или другой идеей или впечатлением, которыми он забавлялся». Отыскать «глубинную» Набоковскую правду — нельзя, но приблизиться к ней можно.

Проф. Альфред Аппель в своей статье, напечатанной в T.L.S. (Times Lit. Supl.) уже после смерти писателя, отмечает набоковское «пристрастие к правде». Эдмунд Вильсон, хорошо знавший и Набокова и его произведения, пишет обратное: «Он любит говорить вам неправду и заставить вас в эту неправду поверить, но еще больше он любит сказать вам правду и заставить вас думать, что он лжет». Определить правду довольно легко — это нечто сказанное с желанием обмануть, но есть ли что-либо двусмысленнее правды, к которой примешана ложь? Вот тут если не моральный изъян Набокова, то его психологический выверт.

У меня имеются 64 письма Набокова ко мне и

несколько копий его писем к другим, его юношеские шуточные стихи, эпиграммы, рассказы — людей знавших его в России и в эмиграции.

Вскоре после того как я стала редактором «Русской Мысли», в ней появилось объявление, что Набоков хотел бы приобрести не только первые издания своих книг, но и письма им написанные. Если бы я была уверена, что его письма ко мне, просто дружеские и никак ни его, ни меня не компрометирующие, будут сохранены в его архиве, я бы может быть, правда не без сожаления, ему бы их вернула. Но я не могла избавиться от предположения, что они будут уничтожены как слишком откровенно раскрывающие его предамериканское существование и вообще его демистифицирующие. Ходят слухи, что черновики своих рукописей он тоже уничтожил, не желая, вероятно, обнажать метод своей писательской работы. Недаром в предисловии к переводу «Евгения Онегина» Набоков пишет: «Художник должен был бы безжалостно уничтожать свои рукописи после их напечатанья, дабы они не могли ввести в заблуждение академическую посредственность и позволить им думать, что изучая забракованные (отброшенные) тексты они смогут раскрыть, (размотать) тайны гения». Тайны гения не только по черновикам, но и вообще разгадать невозможно, но как восхитительно, как умилительно видеть черновики Пушкина, перечеркнутые поправками, украшенные рассеянными рисунками — свидетельства его размышлений и его мастерства.

Письма — чудные островки для причала памяти, и я задумала построить мою книгу о Набокове вокруг его писем, напечатав их целиком и снабдив их

моими воспоминаниями и примечаниями. По существующим ныне законам это оказалось невозможным, и мне пришлось перестраивать мой план. Оттуда и название — «В поисках Набокова», игравшего при жизни и посмертно играющего с читателями в прятки. После личного общения с писателем так заманчиво интересно находить его в его произведениях, узнать его в разных «арлекинных» одеяниях, распутывать клубок нити и хоть иногда находить выход из лабиринта им придуманного, что я и стараюсь сделать.

Знаю, Владимир Набоков заранее ненавидел и презирал всех, кто будет о нем писать — без его присмотра и руководства, — награждая их эпитетом «академические ничтожества», но цена славы и признания всегда одна и та же. Человек перестает принадлежать самому себе, он становится общественным достоянием, и вряд ли бы какой-либо писатель, а Набоков в особенности, предпочел бы забвенье посмертному интересу к нему и его творчеству.

З. Ш.



НАБОКОВ В ЖИЗНИ

Знакомство наше с Владимиром Набоковым началось в 1932 г. Не будучи родственниками, мы состояли в то время в свойстве. Сестра моя Наташа была первой женой композитора Николая Набокова. Лето 1932 года «мои» Набоковы проводили в маленьком именьице «Ода» в Колбсхейме недалеко от Страсбурга. У них гостили моя мать и Владимир и Вера Набоковы. По просьбе Якова Моисеевича Кулишера, кажется, бывшего тогда председателем Клуба Русских Евреев в Бельгии, я передала еще незнакомому мне Владимиру Сирину предложение этого клуба устроить ему вечер чтения в Брюсселе и Антверпене. Первое имеющееся у меня письмо В., в котором он, понятно, обращается ко мне по имени и отчеству, выражает его принципиальное согласие и просьбу передать устроителям, что ему было бы приятно, если бы условия были улучшены — если бы Клуб согласился дать ему 50% чистого сбора плюс оплата дороги туда и обратно. Письмо было из Колбсхейма за два дня до его отъезда в Париж, где он собирался пробыть месяц и где тоже намечался его вечер в начале ноября.

В. не всегда датировал свои письма, и не все почтовые штемпели ясно отпечатаны, но по открытке Набокова Кулишеру видно, что он хотел бы приехать 25 ноября 1932, а уехать в Берлин 28 ноября. В

Париже оказалось, что ввиду «убогого» нансеновского паспорта (выражение Набокова) бельгийское консульство отказало ему в визе, и В. обратился к моей матери, вернувшейся в Брюссель, с просьбой посодействовать ему и похлопотать о высылке ему разрешения на въезд телеграммой — что и было сделано. Я предложила ему остановиться у нас. Не все подробности этой первой встречи запомнились, но общее впечатление совсем свежо — такое она доставила нам удовольствие — число же подтверждается открыткой Кулишера, на которой помечено 250 фр. Антверпен 26. 11. 32. Сумма, конечно, не менее убогая чем паспорт.

Куда исчез, куда пропал тот Владимир еще Сирин, встреча с которым, переписка с которым много лет тому назад были такой радостью для моего мужа и для меня? Радость эта была не только чисто интеллектуальным удовольствием общения с талантливым и образованным писателем, но и теплая радость видеть прелестного и живого человека, с которым никогда не было скучно и всегда свободно и весело. Очарование Владимиром разделяли и совсем неискушенный в литературе мой свекор С. А. Малевский-Малевич и Григорий Баронкин, солдат из крестьян, участник Белой Армии, у нас служивший и книг не читавший.

Так я вижу Набокова еще молодого, только начинавшего путь к сорокалетию (успею увидеть его и сорокалетним, и позднее всего один раз — шестидесятилетним), в дружбе которого к нам нельзя было сомневаться. И из-за теплоты этих встреч и писем меня всегда поражало, и я восставала против мнения других людей, его знавших и обвинявших В. в равнодушии и бессердечности.

Высокий, кажущийся еще более высоким из-за своей худобы, с особенным разрезом глаз несколько навыкате, высоким лбом, еще увеличившимся от той ранней, хорошей лысины, о которой говорят, что Бог ума прибавляет, и с не остро-сухим наблюдательным взглядом, как у Бунина, но внимательным, любопытствующим, не без насмешливости почти шаловливой. В те времена казалось, что весь мир, все люди, все улицы, дома, все облака интересуют его до чрезвычайности. Он смотрел на встречных и на встреченное со смакованьем гурмана перед вкусным блюдом и питался не самим собою, но окружающим. Замечая все и всех, он готов был это приколоть как бабочку своих коллекций: не только шаблонное, пошлое и уродливое, но также и прекрасное, — хотя намечалось уже, что нелепое давало ему бóльшее наслаждение.

Того, что называлось — не в ироническом смысле слова — барством, на мой взгляд, в Набокове не было, как не было ничего и помещичьего или, скажем, московского, т. е. старо-русской простоты. Он был очень ярко обозначенной столичной, петербургской «штучкой».

Тенишевское училище в Петербурге было известно своим либерализмом — оно не было сословным — и своим прекрасным образовательным уровнем, но оно все же было наиболее дорогим в России, так что в сущности все-таки привилегированным, и в В. очень ощущалась принадлежность к богатому классу.

Была у него врожденная элегантность, на которую сама бедность отпечатка не накладывает. Некто знавший его в Берлине мне рассказывал, что там до его женитьбы «Набоков всегда был чистым и аккуратным», «никогда не забывал подрезать бахрому на штанинах», «от работы не бегал, гонял на велосипеде

куда-то за город, чтобы давать уроки». Казалось, подвяжись В. за неимением пояса веревкой, все нашли бы, что он это сделал нарочно.

Гуляя с В. по улицам, сидя с ним в кафе, мы присутствовали и участвовали в занятной игре соглядатайства. В. все замечал и все определял, подменяя видимое воображаемым. Глядя на фонари, только что зажегшиеся на бульваре — четыре белых, посредине один желтый — «четыре соды, одно пиво». Во всяком случае, так удачна была первая встреча, что мы сразу перешли на имена, отбросив отчества, а впоследствии и на «ты».

В декабре этого же 1932 года я была в Берлине проездом в Прибалтику, куда меня послал большой бельгийский иллюстрированный журнал «Ле Суар Иллюстре», и остановилась в очень маленькой квартире Набоковых на Нестор Штрассе. В. и жена его приняли меня не только дружественно, но прямо по-родственному.

Эти тридцатые годы были особенно тяжелы для Набоковых. Жить в гитлеровской Германии было невыносимо не только по материальным обстоятельствам, не только по общечеловеческим, но и по личным причинам. Вера была еврейкой. Податься было некуда.

Как трудно было в Германии, намекает одна приписка В. от 10-го апреля 1934 года. (Жена его через месяц ждала рождения ребенка). «В общем предпочитаю фиолетовые чернила, хотя они ужасно маркие». Это, конечно, напоминание об известном эмигрант-

ском анекдоте. Какой-то эмигрант, возвращавшийся в СССР, условился со своим другом, остающимся на западе, что все, что будет неправдой, будет им написано красными чернилами. Через несколько месяцев друг получил письмо. В нем черными чернилами было рассказано о райской советской жизни, «одного здесь не хватает, самого пустякового, это красных чернил».

На обратном пути в 1932 году из Прибалтики я остановилась в Праге и навестила мать В., которую он так любил и о тяжелом положении которой он так горевал, — маленькую, хрупкую старую даму, жившую действительно в очень стесненных обстоятельствах. Что-то в ней еще оставалось от прежней избалованности.

В Брюсселе у нас часто бывал, одно время даже жил младший брат В., Кирилл, молодой поэт, безнадежно затерянный в сложности быта и которого В. — его крестный отец — отечески опекал, иногда возлагая на нас часть этой опеки. Во многих письмах просит он нас то устроить куда-то Кирилла, то побранить его за несерьезное отношение к ученью, то одолжить ему денег — которые он нам отдаст при встрече, то купить башмаки...

Позднее, в первый год оккупации встречу я в Парижо и другого его брата, Сергея, о котором В. нам не говорил и с которым как будто не имел ничего общего, хотя и Сергей был весьма культурным человеком. Крупный, мешковатый, заикающийся, несколько напоминающий прустовского Шарлю, Сергей, с которым

я успела подружиться за эти несколько месяцев, прекрасно знал языки и, не в пример В., любил и понимал музыку. Он совершенно не интересовался политикой и ничто даже в разгар войны не предвещало его трагического конца в Берлине незадолго до победы союзников. О судьбе его ходят разные версии, он как будто работал — жить было надо — переводчиком в немецком радио и как-то обмолвился, что война Германией будет проиграна. По другой версии, более вероятной, так как за первое «преступление» его могли послать в лагерь, но вряд ли бы приговорили к смертной казни — какой-то убежавший из плена английский летчик, которого Сергей знал в Кэмбридже, попросил у него убежища, и соседи донесли. Отрубили ли ему голову или расстреляли — неизвестно...

Живя не в одной стране, уж не так часто, конечно, виделись мы с В., тем более, что не только у Набоковых, но и у нас были одинаковые материальные ограничения, чтобы не сказать одинаковая бедность, и путешествия давались нелегко. Благодарно удивляюсь и посейчас, что несмотря на свою невероятную литературную загруженность — он говорил, что писал иногда в день по 15-20 страниц, случалось, и в ванной комнате на доске, положенной на ванну, за неимением удобного письменного стола, — обремененный заботами, переговорами с издателями, турне с «чтениями», В. успевал мне писать такие длинные и обстоятельные письма в продолжение восьми лет.

В Брюсселе существовал «Русский Клуб», члены которого культурными запросами не страдали и кроме политических, узко эмигрантских докладов, насколько помню, никто не устраивал других, за исключением, как раз в 30-х годах, Евразийцев, дружно ненавидимых той же русской общественностью. Евразий-

цы устраивали лекции Бердяева, Вышеславцева, Карсавина, обычно сопровождавшиеся протестами несогласных слушателей. Иногда доклады читались у нас на дому, как например, профессором Экком, специалистом по русскому средневековью. Его за «левые» взгляды тоже не любила русская общественность. Чисто литературные доклады и чтения устраивались и в Брюсселе и в Антверпене «Клубом Русских Евреев», в те времена от русской культуры себя не отрывающих и ее почитающих.

Зато в Бельгии, которая вообще очень радушно и благородно приняла первую эмиграцию, было у нас много друзей в политических, литературных, художественных, научных и светских кругах и поэтому нам, ставшим впоследствии бельгийскими гражданами, было не так трудно помочь Набокову в устройстве чтений, докладов и в частных домах и в общественных залах. Всюду он был принят с энтузиазмом, международность его была приятна европейцам. По-французски он говорил хорошо, хоть и не безупречно, доклады были подправляемы французами.

Читал В. великолепно, но всегда читал, имея перед собой свою рукопись, с интересными интонациями, но никак не по-актерски, с очень характерным жестом, левая рука к уху. Поэтому я особенно люблю прилагаемую тут фотографию 1937 года, о которой В. написал: «Посылаю вам лучшую из моих морд».

По-русски читал В. раза два-три у нас в нашей гостиной. Народу было не много, дискретно, пришедшие внесли кто сколько мог за абстрактный билет. Помнится, что одна очень красивая дама, имеющая модную мастерскую, прослушав отрывок из «Приглашенья на Казнь» в 1939 г., воскликнула: «Но ведь это сплошной садизм»!

Устраивали мы такие же неофициальные чтения для В. по-французски у наших друзей Фиренс-Геваерт. Поль Фиренс, профессор истории искусства и позже главный смотритель всех королевских музеев, был женат на француженке Одет де Пудраген, праправнучке мадам Роллан. Он в молодости жил в Париже и был близок со всеми французскими писателями, поэтами и художниками эпохи между двух войн, богатой талантами, а также и с немецкими, итальянскими, испанскими знаменитостями, как Карло Сфорца, Евгению Д'Орс, Жан Кассу... Принимали Фиренсы радушно и международно.

Оставшаяся у меня открытка от известного бельгийского писателя, автора издательства Галлимар, Франца Элленса *) женатого вторым браком на русской — открытка, к сожалению, без даты, предполагаю, что от 1935-36 г. — дает интересный список лиц, которые хотели бы присутствовать на таком вечере. Это «цвет» бельгийской интеллигенции: критик Роберт Пуле, поэт Гастон Пуллингс, критик Жорж Марлоу, драматург Герман Клоссон, писатель Арнольд де Керков, театральный критик Камиль Пуппе (специалист по китайскому театру) и оригинальнейший фламандский драматург, пишущий по-французски (как Метерлинк, де Костер и Кромеленк), Мишель де Гельдероде.

Первое публичное чтение в Бельгии состоялось в зале на авеню Луиз в 1936 году. В. предполагал читать главы из «Соглядатая», которые появились во фран-

---

*) В 1936 г. Элленс переписывался с Михаилом Булгаковым.

цузском переводе в « Oeuvres libres ». Он был очень озадачен необходимостью читать что-нибудь неизданное. Он писал мне, что мучается, но обещал меня не подвести. Неизданная эта вещь называется «Мадемуазель О.». О ней — едва ее закончив, он мне сообщает, что он написал ее в три дня. «И это вообще совсем второй, если не третий сорт». Успех «Мадемуазель О.» будет, — несмотря на его мнение об этом «пустячке», — большой не только в Бельгии, но и во Франции, и В. очень удивлен, что она чрезвычайно понравилась редакции « Nouvelle Revue Française ». «Мадемуазель О.» выйдет затем в журнале « Mesures », а затем включится в книги его воспоминаний. В чтении В. этот рассказ длился около полутора часов.

В этом же 1936 году русское зарубежье подготовляло к 1937 г. празднование столетия смерти Пушкина. В ответ на мое приглашение приехать в Брюссель с чем-нибудь «Пушкинским» В. пишет, что он задумал французскую речь о Пушкине «особенного рода, с международными точками опоры и блестящими виражами», а осенью того же года, из Берлина, что это будет не рассказ, «а фейерверк праздничных мыслей на бархатном фоне Пушкина», и предупреждает, что чтение предполагается на час или немного больше.

Для этого пушкинского торжества была нанята уже зала в « Palais des Beaux Arts » и оказалась она набитой до отказу. Это был действительно фейерверк и перед ним несколько померкли более академические пушкинские торжества. Называлась эта виртуозная вещь: « Le vrai et le vraisemblable ». «Правда и правдоподобие». Она выйдет по-французски в « Nouvelle

Revue Française» 1 марта 1937 г. К этому же Пушкинскому году бельгийское издательство и журнал «Journal des Poètes», сотрудницей которого я была, поручило мне редактировать небольшой сборник «Hommage à Pouchkine» — статьи и антологию. Он вышел вовремя и стал теперь библиографической редкостью. С благодарностью вспоминаю старших собратьев: М. Гофмана, Г. Струве и В. Вейдле, согласившихся прислать мне статьи, над переводами стихов потрудились, кроме Роберта Вивье и его жены (русской татарки, матери известного теперь вулканолога Гаруна Тарзиева), а по подстрочникам и другие больгийские поэты, да двое русских — В. и я. В. перевел «Стихи сочиненные во время бессонницы» с одним все же «руссизмом», но зато рифмованные. Должна была участвовать и Марина Цветаева, к этому времени переведшая «Пир во время чумы», но она отказалась по свойственной ей непреклонности, — хотела все или ничего — а все было слишком длинно для сборника. После выхода «Hommage à Pouchkine» В. мне пишет: «Твой пушкинский сборник великолепен».

Начиная с 1933 года В. мне часто пишет о прочтенных им книгах. Читал он повидимому чрезвычайно много. Сообщая, что он только что прочел несколько книг «женского пола», он дает им свою оценку. В те времена только что появившийся роман Екатерины Бакуниной «Тело» вызвал смелостью своих физиологических описаний бурю в зарубежьи. В. пишет, что автор «Тела» словно «моет пол aux grandes eaux, шумно выжимая — дочерна мокрую — половую тряпку в ведро, из которого затем поит читателя». Об «Орланде» Вирджинии Вульф: «Это образец пер-

воклассной пошлятины». В Катрин Мансфильд его раздражает «банальная боязнь банального и какая-то цветочная сладость».

Утверждая, что он не читал того или другого писателя, он все же выражает свое мнение о нем. Маритэна он не читал, но его «тошнит» от него, потому что о нем «с такой елейной любовью говорят педерасты» (то была эпоха маритэновской переписки с Кокто). Он удивлен, что у меня была охота интервьюировать Жоржа Дюамеля.

О Жорже Бернаносе В. даже не упоминает, вероятно, потому что Бернанос, как и Клодель и Мориак, был для него «безнадежно отравлен». Он «и в рот не берет ничего такого, где есть хоть капля католицизма». А может быть он их все-таки читал?..

Мне не понравилась нашумевшая и получившая одну из главных премий во Франции книга бельгийского писателя Эрика де Олевилья (женатого на сестре жены Альдуса Хекселея) « Voyages aux Iles Galapagos ». В., наоборот, от нее в восторге, она «одна из очаровательнейших книг», которую он когда-либо читал. Другого бельгийского писателя, получившего премию Гонкуров, моего приятеля Шарля Плисньe он зато ругает в 1937 г. Находит, что его роман « Faux Passeports » «пошлятина», но признается: «... иногда люблю прочесть скверную книжонку, ça purge » — это прослабляет. Зато у него хорошее мнение о книге Элленса « L'Oeil de Dieu » («Божий Глаз»): «Какая у него там собака!» В том же году он читает «с запозданием» «пошленький, сентиментальный, жеманный «Распад Атома» (Г. Иванова). В действительности роман этот конечно никак не сентиментальный с его некрофильскими описаниями — и полным нигилизмом.

Не обладая как будто нормальным для писателей гиперболическим самомнением, я могу объяснить себе только дружескими чувствами В. ко мне его внимательное и ласковое отношение к моим ранним литературным попыткам. Стихи мои он считает «хорошими или прелестными», упрекает меня за их краткость («как будто муза прервала соединение») и бранит меня за мою частую самокритику рассказов, которые появляются в разных журналах. Я считаю очень характерным, **что** именно он счел удачным в моем рассказе «Уголовное», напечатанном в журнале «Содружество» в Хельсинки. Утешая меня, что «Уголовное» ему понравилось больше, чем ожидал после моей собственной оценки его, В. находит в нем «сжатость, развитие действия и несколько очень удачных petites trouvailles» (маленьких находок). Особенно понравился В. пассаж, где герой, гуляя после совершенного им «почти убийства» по ночному Парижу, вдруг слышит раскаты странного грома и видит маленьких существ, катящихся к нему с необыкновенной быстротой. Это безногие, которые тогда передвигались, катясь по асфальту на низких тележках, гребя руками с надетыми на них дощечками. По поводу другого пассажа этого же рассказа, более правдоподобного чем тележки с безногими, В. напоминает мне: «Ничего нет менее правдоподобного, чем подобие правды». Фраза, в моих глазах, ключевая для Сирина.

Вообще он удивительно внимательно относится к нам. Не забывает спросить, как подвигается роман моего мужа «Мнимые Числа», французский перевод которого хвалил ему Фиренс, сообщает мне, что мои стихи появились в «Современных Записках», или возмущается тем, что Юрий Мандельштам плохо отозвался о моем сборнике. Пишу об этом потому, что все это никак не вяжется с представлением, ко-

торое имели о В. другие, и еще меньше с тем, чем стал Сирин, превратившись в Набокова.

В. безустанно заботится о своей матери, о брате Кирилле. Рождение же сына повергает его в перманентное умиление. Об этом событии нам было сообщено без промедления открыткой из Берлина от 14-го мая 1932 г. «В четверг у нас родился сын Димитрий», а затем как приложение к письмам сведения о нем. Сын его «сплошное очарование». «Мальчик мой ходит, держа передние лапки, как пляшущий пудель». И как живописно описывал В., устно, при встречах, приятность ухода за младенцем, например, удовольствие катать его в колясочке. В те времена, когда отцы еще не снисходили до помощи своим еще не эмансипированным женам в уходе за детьми, В. нянчил своего сына. Вера работала на стороне, а он сидел дома. Он прибегал к терминам теннисной игры, с гордостью рассказывая об искусстве стирания пеленок. «Это очень легко, сперва потереть, потом так, в одну сторону « drive » и в другую « back hand », все это с соответствующими жестами теннисиста.

Посреди своей собственной неустроенности, в целом ряде писем В. пишет мне о знакомой ему барышне голландке, прося приискать ей хорошего жениха, просит благодарить Фиренсов, кланяться Замятину, у нас гостившему, — «он пресимпатичный», беспокоится о здоровье Анатолия Штейгера, только раз у него побывавшего в Берлине и снова попавшего в санаторий, — просит его адрес, чтобы ему написать. С Буниным находит общение приятным — только что приехав в Париж, В. «уже сидит с подвыпившим Иваном Алексеевичем». Он настаивает, чтобы я познакомилась с Фундаминским, но ни разу не поминает Алданова, который Сирину, как и многим другим, немало помогал.

Как-то уехав от нас и забыв оставить на чай нашему Баронкину, он пишет о своей этой забывчивости и просит ему дать 10 фр. «из оставленных» (он иногда оставлял нам часть полученных денег, до востребованья). Узнав о смерти моего свекра, В. немедленно пишет нам свое соболезнование и вспоминает «милейшего, очаровательного старика», с типично набоковской внимательностью к жестам: «Мне так живо запомнилось, как он мирно сидит у стола и медленно уминает в пальцах папиросу, прежде чем ее закурить.».

Для меня дар благодарности — одно из мерил благородства, и этот дар в то время у В. был в избытке. После первой встречи он пишет, что очень полюбил нас троих. Если я долго ему не пишу, просит «отыскать место на письменном столе», чтобы написать ему, или справляется, почему я его забыла. Ему хочется моего «почерка и многоточий». Признается: «Знаете, по-настоящему скучаю о вас (а у меня маловато таких, по которым скучаю)», благодарит нас за все «чудесное», что мы для него сделали, в другом письме «за восхитительную заботу о нем» или «как мне было хорошо у вас и как я благодарен вам за все ваши ангельские хлопоты (почти хлопанье крыл)»...

Могут подумать, что Набоков был с нами мил, потому что в нас нуждался, но это не так. Материально, будучи бедны сами, мы помочь Набокову не могли, а хлопоты о нем и о его писательских делах были нам никак не тягостны. Он в наших глазах был не только талантливейшим писателем, но и человеком, ставшим близким другом. И вот из-за того, что мы так хорошо его знали, нам были совсем непонятны

разговоры писательской братии о его холоде, сухости и равнодушии, в сущности, об его бесчеловечности.

Почти во всех письмах ко мне В. пишет и о своих литературных делах. В письме от сентября 1934 г. В. сообщает, что он только что кончил новый роман «Приглашение на Казнь». В одном, без даты, предполагаю, что оно от 1935 года, он сообщает, что его «жизнь загромождена» очень сложным переводом «Отчаянья» на английский язык. Перевод этот заказан и должен быть сдан английскому издательству до Рождества. «Ужасная вещь — переводить самого себя, перебирая собственные внутренности и примеривая их, как перчатки». В процессе этой работы он чувствует в лучшем словаре «не друга, а вражеский стан» и тут же прибавляет, что он где-нибудь применит придуманное им выражение «он был не словоохотлив, как словарь».

В 1936 году В. выражает опасение, что его следующий роман, заглавие которого удлинилось на одну букву и стало не «Да», а «Дар», огорчит меня, так как первоначальное утверждение превратилось «в нечто цветущее, даже приапическое».

По поводу рассказа «Весна в Фиальте», (о нем В. писал мне так: «Очень языческое — вам не понравится»), по-видимому, распространился слух, что автор будто бы вывел в этом рассказе знакомых мне людей, и В. просит опровергать эту сплетню его «собственным возмущением» и как всегда подчеркивает, что он выдумывает, а не описывает существующее. Он рад, что мне понравился его «кругленький рассказ» «Облако, Озеро, Башня», только что по-

явившийся в «Современных Записках» и который я считаю одним из самых удачных обличений «цузамен марширен» (хождения в ногу). Случается, он бранит «поганенькую добролюбовщину» эмигрантской критики, но признает, что хуже нее «дикое ликующее мещанство, до которого в России со времени бездарного Белинского докатилось наливное яблочко русской мысли». Ему противна вся советская беллетристика, включая конечно А. Толстого и Л. Леонова.

Настолько безоблачны были мои отношения с В. все эти годы, что даже не только мои соображения или мои толкования его творчества его не сердят, но и моя критика...

Тут следует сказать, кем был для меня тогда Сирин-писатель. Он был почти моим современником, всего на семь лет меня старше (девять лет разделяют его самого от поколения Пастернака), но он успел закончить в России среднее образование, а я там успела только его начать: это довольно существенно, не менее существенно и то, что он на семь лет дольше меня жил в России. Я сразу же ощутила его превосходство перед всеми «молодыми» эмигрантскими писателями, считая, что никого равного ему среди нас нет, и, смолоду взяв за правило никогда не руководствоваться ни модой, ни оценкой присяжных критиков, выделила Набокова по своему собственному вкусу. Но, почувствовав и предчувствуя, какое место займет он в русской литературе, а следовательно и во всемирной, я оставалась свободной от безоговорочного поклонения ему. Кое-что беспокоило меня в Сирине, — и обозначившаяся почти сразу виртуозность и все нарастающая насмешливая надменность

по отношению к читателю, но главное — его намечающаяся бездуховность. Чего-то мне в его произведениях не хватало, где-то был провал. Во французском, скажем, писателе такого же порядка, я бы этого не усмотрела, но я судила о Сирине как о писателе русском — поэтому мне и было понятно бунинское зоркое определение Набокова как «чудовища». Русскую большую литературу от западной всегда отличало что-то существенное, отличались и русские читатели от читателей западных. Они требовали не только художества, но именно тех добрых чувств, о которых неосмотрительно выразился Андрей Жид, что из них не делают хорошую литературу. Наиболее любимыми писателями России испокон века и до нынешнего времени, как видно по Солженицыну, были именно те, кто добрым чуствам придавал художественную форму.

Признаться, я с необычайной смелостью писала и говорила, что думала (с неменьшей, впрочем, откровенностью и старому Бунину по поводу его «Воспоминаний» и «Темных Аллей»), дружбе это позволено и, поняв, что критика моя — дань уважения, эти два больших писателя, известных своим трудным характером, не обижались на меня, Бунин до смерти, Набоков до отъезда в США...

В своем письме от 19. 9. 1934 г., где он сообщает мне, что только что закончил новый роман «Приглашение на Казнь», В. пишет по поводу какой-то моей заметки о нем: «... На что мне сердиться? Вы удивительно внимательно — и для меня лестно отнеслись к моему т-ству» и тут же поясняет, что к «творчеству, а не товариществу». В том же году, но раньше, он выражает опасение, что я на ложном пути, что я не отдаю себе отчета, «что к писанью прозы и сти-

хов не имеют **никакого** отношения (подчеркнуто в тексте) добрые человеческие чувства, или турбины, или религии, или духовные запросы», или «отзыв на современность».

Но, конечно, отзыв на современность найдется и в «Подвиге» и в «Истреблении Тиранов» и в « Bend Sinister » (Под знаком незаконнорожденных).

Что же касается добрых чувств, то как раз мои стихи, дважды выделенные В. похвалой, помещенные сперва — в первом сборнике «Уход», (В. пишет, что он понимает это заглавие как уход за своими стихами), а затем в антологии «Якорь», были переполнены «добрыми» и даже христианскими чувствами. Начинались они так:

Без денег, даже без друзей
И в шуме городском, отравном
Богаче тот, кто всех бедней,
Светлее, чище и бесславней,

а оканчивались уж совсем отвратительно для «закоренелого язычника»:

И в страшный час земной разлуки
Благословенно бытие,
Прими Христос пустые руки
И сердце полное мое.

В 1936 году В. мне напоминает: «единственное важное — это то, хорошо ли написана книга или плохо, — а что до того, прохвост ли автор или добродетельный человек — то это совершенно неинтересно». Надо сказать, что в этом я была с ним совершенно согласна, будучи уверена, что гениальность и

злодейство вполне совместимы и что добродетель таланта никому не прибавляет. Несогласие наше лежало в другом, не в человеческих особенностях автора, а в том — есть ли в его произведении тот внутренний стержень, без которого оно не больше чем игрушка.

Совершенно случайно, как бы предчувствуя, что и в будущем В. все больше будет входить в мир небытия, я, которая никогда не оставляла себе копии моих писем к нему, переписала пассаж одного из них от 1934 года, в котором я, сознаюсь, очень косолапо, выразила ему тогда мои соображения и даже опасения, напоминая, что от искусства может идти и искусственность, что ему не равнозначно, и что не следует писателю украшать свое творчество только внешним. Искусство не может осилить темы и тезы смерти. Время распыляет все, что не соответствует вечности, т. е. Богу. «Если нет стержня и основы, то и украшать будет нечего, потому что украшенья вокруг пустоты держаться не будут», и прибавила, что «это только ловкость рук».

На это В. ответил мне весьма кротко:

«Да, я остаюсь при своем мнении: грешен, люблю литературу и не терплю примеси к ней». Он просит меня не сердиться «на закоренелого язычника».

В этом же письме, до крайности откровенном и которое могло бы стать опасным для наших отношений потому, что тут дело касалось самого для него дорогого, его писательской сущности, я также попыталась объяснить ему, как и его жене, причину затрудняющую мне вполне дружеское общение с В. Е. Между нами существовала какая-то натянутость. Вот что я написала тогда В. «Что касается Веры — то

пусть она меня простит, но мне кажется, что оскорбленная гордость держит ее на цепи». В. в ответ пишет, что он не понимает, что это за гордость и что за цепь? Письмо мое написано в 1934 году, «Дар», несомненно один из самых биографических романов, выходит в 1935 г. Там есть такая фраза о Зине: «В ней была черта, стеснявшая его: ее домашний быт развил в ней болезненно-заостренную гордость».

Чувствительность жены к своему происхождению перешла понемногу и на Набокова. В Париже он объяснил советскому писателю, что он не может вернуться в СССР, «потому что ему важно, как написано, а не что написано». В 1952 году в своем письме к проф. А. Парри (в переводе с английского А. Парри в «Новом Русском Слове» 9 июля 78 года) Набоков написал: «Кто бы ни был автор, мой подход к нему всегда определенно литературный. Я не интересуюсь политическими аспектами, политическими взглядами или же случайным значением этих взглядов для ситуаций текущего дня».

Однако проф. Аппель в своей статье в Tim. Lit. Supl. № 1140 от 7-го октября 1977 г. пишет: «Молодой Набоков стал вдвойне чувствительным к зловредности антисемитизма». «Раз в Европе он ударил кого-то за lapsus linguae', впоследствии он более тонко протестовал в своих американских произведениях».

Аппель упоминает об одном инциденте в университетских кругах США и не сомневается, «что набоковская ненависть к Эзре Пунду основывалась на фашистских и антисемитских мнениях этого поэта». В данных случаях эмоции оказались сильнее принципов. Мне помнится, что на одном из собраний

ассоциации международных критиков в конце 70-х годов в Барселоне проф. Джоун Броун сделал доклад об Эзре Пунд. Присутствующие советские критики Г. Брейдбург, И. Сучков, Ал. Михайлов, В. Озеров заявили протест: творчества фашистского поэта упоминать было нельзя. Но Набокову в таком лагере как будто бы делать нечего...

Летом в 1937 году я не без опасенья написала мою первую, большую статью о Сирине*, а не просто краткую рецензию, — для бельгийского журнала La Cité Chrétienne — органа молодых католиков, многие из которых станут впоследствии известными в Бельгии политическими, общественными и литературными деятелями.

Получив журнал, В. мне пишет: «Я с интересом и волнением прочел твою статью о «Приглашении на Казнь» — она, во-первых, прекрасно написана, а во-вторых, очень умна и проницательна». В другом письме, возвращаясь к этой статье и помня, что она была напечатана в католическом журнале, он замечает: «Ох, боюсь не одобрила бы твоей статьи редакция, знай она все мои грехи».

В письме того же года, В., сообщая, что он отправляет в Англию перевод своего романа, пишет: «Но уже новый замысел мелькает, как гора, в моем вагонном окне, то слева, то справа — и скоро высажусь и полезу — слышу уже грохоток осыпей».

Несмотря на все его усилия, на беспрерывную, изнуряющую работу и невероятную энергию, которую

---

* Привожу целиком русский перевод этой статьи в приложении.

он проявит — все это осложненное беспокойством за будущее — положение В. все эти годы все так же неустойчиво.

Тут, мне кажется, все же необходимо опровергнуть слухи, исходящие от поздних поклонников Набокова, незнакомых с жизнью первой эмиграции, о том, что будто бы русское зарубежье не приняло и не поняло Набокова. Это не так: его появление было сразу же замечено, с выходом его, еще очень молодой, «Машеньки». Интерес к нему все возрастал, и ни один из писателей его поколения никогда не получал такие восторженные отклики со стороны старших собратьев.

Трудно определить рубеж поколений. Были писатели старшие: Бунин, Мережковский, Гиппиус, Куприн, Ремизов, Зайцев, Шмелев, Осоргин, Ходасевич (к ним как-то примыкали и Марина Цветаева и Одоевцева и Иван Лукаш) и другие, имена которых были впервые услышаны заграницей: Газданов, Фельзен, Песков, Зуров, Городецкая, Поплавский — прозаиков было меньше чем поэтов. Но из последней категории только один Сирин был так щедро и безошибочно угадан и поддержан критиками и признан старшими собратьями. Никого так щедро не печатали зарубежные журналы и в Берлине и в Париже. Литературно консервативные, хоть политически и левые для эмиграции «Современные Записки» и «Русские Записки», не без опасения перед набоковским новаторством и не без раздраженья за его насмешливость по адресу Чернышевского и Белинского, были для него более широко открыты, чем даже для Марины Цветаевой. Маленькие периферийные журналы мечтали о его сотрудничестве, но, кажется, только «Новь» удостоилась его заполучить. На чтения Сирина

слушатели приходили с неменьшим энтузиазмом и с бо́льшим любопытством, чем на Ремизова.

В сущности оппозиция Сирину шла только из одного источника, откуда шли и словесные гонения, — от «Монпарнасцев» и от «Чисел», короче говоря, от двух Георгиев — Адамовича и Иванова. Я до сих пор не могу себе объяснить, чем было вызвано долгое неприятие Адамовичем Набокова и Цветаевой. Конечно, дело было не в зависти, Набоков конкурентом критику и поэту Г. Адамовичу никак не был. Может быть была все-таки обида. Адамович, слово которого было так веско в монпарнасских кофейнях, мог быть уязвлен тем, что Сирину его одобрение и поддержка были не нужны. К тому же стоящий на другом полюсе эмигрантской критики, — Вл. Ходасевич был одним из самых ранних и верных ценителей Набокова. Все книги В. выходили одна за другой без промедления, сперва в толстых журналах, затем в издательствах...

Загадочно то, что писатель Сирин не пошел в западных странах, несмотря на поддержку « Nouvelle Revue Française » и в частности Жана Полана, игравшего там очень важную роль, несмотря на его знакомство с четою А. Черч и на его личный успех при частных встречах с иностранцами. По письмам В. видно, что он продал Галлимару «Отчаяние», написанное им в 1935 году, только в августе 1937-го, но оно не вышло еще и в 1939 году! В письме от 1939 года В. пишет, что французский перевод «Приглашения на Казнь» только что откорректирован, но и этот роман выйдет у Галлимара только после войны...

У меня нет иностранных откликов той эпохи на книги В., но ни одна из них не стала бестселлером. Боюсь, что вряд ли даже окупились во Франции из-

дательские расходы, и В., вероятно, как это бывает в таком случае, получил только задаток при подписании контракта.

О причинах такого скромного успеха В. в Европе можно только догадываться. Вообще говоря, русская современная литература тут мало кого интересовала, а использовать первую эмиграцию в целях антикоммунистической пропаганды в предвоенные годы никто не хотел. Несмотря на самое сталинское время, СССР скорее рассматривали здесь как явление положительное и могущее служить примером другим странам. Кроме Мережковского и Алданова, писатели-эмигранты переводились очень скупо. Из типично русских Шмелев шел лучше других. Ремизова, причислив его к сюрреалистам, поддерживал немного Галлимар. Бунин до получения Нобелевской премии не интересовал. Даже после премии книги его, по сравнению с книгами других Нобелевских лауреатов, расходились плохо.

Но вот, казалось, Сирин, с его западной культурой и его оригинальностью, с его замысловатостью должен был себе тут найти читателей... Может быть здесь сыграло роль то, что если Бунин для западных читателей был слишком русским, Сирин был, или казался им, слишком западным писателем.

И так год за годом, в продолжение восьми лет, почти в каждом из писем В. ко мне — вопиет та же непреодолимая бедность, все те же заботы — от 1933 до 1939 года. В 1936 году мать его «живет впроголодь и больна», в 1939 г. «Положение моей матери действительно страшное».

Уже с 1932 года Набоковым хочется покинуть

Берлин, Германию, но нет денег, к тому же положение «нансениста» закрывает все границы для разрешения на постоянное жительство в другой стране. Для переезда нормально требуется контракт на работу да еще правительственное разрешение на этот контракт. Туристическую визу достать легче, хотя и не легко, но это не выход. Из Берлина в 1936 году В. пишет, что они серьезно подумывают о том, чтобы перебраться в наши края — в Бельгию — и спрашивает, нельзя ли на первых порах устроиться хотя бы не в столице, а в каком-нибудь курорте, не у моря, на зиму пустующим, когда цены понижены. Речь конечно идет о самых дешевых «35 фр. (бельгийских) нам совсем не по карману». Через несколько недель В. возвращается к этому вопросу: «Может быть будет дешевле снять 2 комнаты с кухней»?

Мы что-то находим в каком-то « Vieux Manant », из которого В. получает ответ «бисерным почерком», но в Бельгии отдыхать они не будут.

Последняя открытка из Берлина была послана мне 16 января 1937 г., следующие письма приходили уже из Франции, по-видимому, в этом году они и покинули Германию.

Продав Галлимару «Отчаяние» летом, «побывав больше месяца в Богемских лесах», В. и его семья отправились в Канны, где надеялись провести месяц, «если позволит Меркурий, увы, не слишком благосклонный к моим транзакциям». Только что увиденную им в Париже колониальную выставку В. считает «пошлейшей и бессмысленной».

Позднее В. в Ментоне. Там ему «замечательно пишется». Оттуда он запросит меня «подсобить» ему,

напомнив, кто написал «Пословицы» и «Ад», у него это заскочило — «такие большие полотна, с маленькими неприятными фигурами». Я ответила: «Иеронимус Босх», но так и не узнала, для какой вещи ему понадобилась эта справка. О Босхе не нашла упоминания ни в одной из его книг.

В 1938 году опять письма с юга Франции. Н. живут в Мулине, в примитивных условиях, мечтая переехать в другое место, так как в Мулине военный лагерь, духовая музыка и «пальба за деревней». Там зато «un bon choix (прекрасный выбор) бабочек». Фотографии двух самцов бабочек, пойманных в Мулине, помещены в « Speak memory ».

Осенью того же года пришло к нам в Брюссель письмо с просьбой помочь сестре В. Е., оказавшейся в трагическом положении в Берлине со своим четырехлетним сыном. Виза в Бельгию была ей устроена, но ей удалось попасть, думаю, к ее счастью, в Швецию, оставшуюся нейтральной.

В одном из писем с юга В. пишет: «Мы сейчас находимся в русской, очень русской, инвалидной вилле, среди старых грымз на Кап д'Антиб». Дату установить не удалось, но вероятно с этой виллой связана слышанная мною в Париже история, за достоверность которой не могу ручаться.

Заведывал этой виллой, как будто, какой-то генерал и, прежде чем туда отправиться, В., всегда помня о самолюбии своей жены, написал ему, предупреждая, что жена его еврейка и что он хочет быть уверенным, что никаким оскорблениям она там не подвергнется. Генерал ответил отменно мило, что он человек воспитанный, как и те, кто гостит в его вилле и что

ничего неприятного произойти не может, он за это отвечает. Набоковы поехали туда и там вскоре их навестил кто-то из парижских литераторов и начал рассказывать столичные новости, но едва он произнес «Жид написал новую книгу», как генерал, близко находящийся и конечно об Андре Жиде никогда не слыхавший, побагровев от негодованья, набросился на гостя: «Я не позволю, милостивый государь, здесь браниться!..»

Зато, поскольку слышала это от самого В., могу с большей уверенностью рассказать о встрече В. с каким-то советским писателем, видно, посланным разузнать, можно ли Владимира Сирина уговорить вернуться на родину. Встретились они во «Флоре» на Сен Жермен и пили там пиво, мирно беседуя. В., как всегда, с любопытством разглядывал всех окружающих и обратил внимание советского собрата на какого-то клиента, с жадностью читающего газету — «смотрите **как** он ее читает». На что его собеседник немедленно заинтересовался, какую, какого направления эта газета, и В. ему объяснил: «Вот отчего я никак не могу вернуться» — «мне важно **как** читают, а вам важно **что** читают».

В новогоднюю ночь 1938 года был последний в Париже бал русских писателей и мы приехали в Париж. Не помню были ли на этом балу Набоковы, но знаю, что собирались. В письме от декабря В. пишет, что они стараются устроить сына на одну ночь, найдя кого-нибудь, кто бы с ним мог посидеть. Там же он говорит, что исполнил мое поручение и попросил Вишняка послать мне октябрьскую и ноябрьскую книжки «Русских записок». Мелочь, показывающая, как В., даже в самых трудных обстоятельствах, исполнял самые ничтожные просьбы друзей.

Он подробно объясняет мне, что Вишняк даром «Р. З.» дать отказался, но уступил обе за 24 фр., из которых 10 фр. мне причитаются за стихи, а 14 будут авансом за следующие.

Есть у меня еще длинное письмо, никакой датой не помеченное — но в моей папке отнесенное к 38 или 39 году. Оно трагическое: «У нас сейчас особенно отвратительное положение, эта гибель никого не огорчает и даже не волнует». Все же Союз литераторов послал ему 200 франков. Им нужно набрать на билет, чтобы вернуться с юга Франции в Париж. В. пишет, что в такую минуту было ему особенно радостно получить письмо, напоминающее, что в Брюсселе есть еще друзья. Он с раздражением прибавляет: в Париже ходят слухи, что они сидят на юге для своего удовольствия — «эти завистливые идиоты не понимают, что нам просто деваться некуда».

Вид у него был в те годы ужасный, он был худ, кашлял из-за непрекращающегося бронхита и трахеита, страдал невралгией. Кочевая его жизнь (из-за выступлений и переговоров с издателями) отражается в его письмах, которые посланы то из Берлина, то из Парижа, то из Англии, да и парижские адреса никогда не бывают постоянными. В гостинице во время своих «турне» он не останавливается: всегда у знакомых, иногда в совсем некомфортабельных условиях, — у нас он жил в мансарде. Может быть это скитание по чужим квартирам и вызовет после материального успеха странное желание обосноваться в старом паласе, чем-то напоминающим ему гостиницы его детства.

В марте 1939-го года В. сообщает, что едет 3-го апреля в Лондон, где 5-го апреля будет читать у

Саблиных, затем у неизвестных мне Чернавиных, и спрашивает меня, считаю ли я «ладной» его мысль приехать в Брюссель и дать русский вечер, или два вечера, один русский, один французский. Он мог бы прочесть по-французски главы из перевода «Приглашенья на Казнь». Он считает перевод Приеля прекрасным (чего я не нашла). Его планы — опять с семьей отправиться на юг «в загоне», так как «безденежье дикое», но все так же, несмотря на занятость и беспокойство, В. не забывает спросить, когда же он прочтет «интересный роман» Светика, и надеется, что мой «ручеек скоро опять зажурчит».

В апреле этого же года приходит от него из Парижа просьба подтолкнуть визу, чтобы заехать в Брюссель на обратном пути из Лондона. Паспорт у него все тот же нансеновский, но выданный уже во Франции и на удивительно короткий срок — от 21 марта 1939 до 21 июля 1939 г.

Так в последний раз побывал В. у нас в Брюсселе. Не помню, что и где он читал по-русски, а по-французски, мне кажется, в доме у Фиренсов, — зала мы не нанимали.

То муж, то я приезжали иногда в Париж и, конечно, всегда видали Набокова или в малюсенькой двухкомнатной квартире, где они жили, или у Ходасевича.

С В. Н. были у нас отношения хорошие, но без той теплоты, а главное той простоты, которые существовали между В. и нами. Мне казалось, что В. Н. с ее твердым и повелительным характером, свой узко-

семейный круг — жена, муж, сын — считала самодовлеющим, замкнутым миром и единственным для В., писателя, необходимым. Другие допускались в него по необходимости и под ее контролем. Участие ее в творчестве В. уже тогда было неоспоримо, и я думаю во всей истории русской литературы не найдется ему примера. Неизмеримо скромнее была роль, скажем, С. А. Толстой или А. Достоевской.

Недаром, случай редчайший, в переизданиях своих книг В., пост фактум, приписал своей жене посвящения, которых не было в первых изданиях.

О глубокой своей привязанности к родителям, особенно к отцу, Набоков говорит завуалированно, то передавая свои чувства персонажам своих рассказов или романов, то намеками в своих стихах — «не изменился ты с тех пор как умер» «за траву двух несмежных могил...». В любви же к своей жене и сыну он прибегает к необычайной для него откровенности, без камуфляжа вымысла, утверждая, что ему нужно, чтобы «все пространство и все время участвовали в моем чувстве, в моей смертной любви» (Conclusive Evidence).

С годами единство писателя и его жены все подчеркивается в разных интервью, поддерживается свидетелями и входит (как любовь Арагона и Эльзы Триоле) в легенду.

Итак, между мной и В. Н. существовал благожелательный нейтралитет, — до одного инцидента, меня удивившего.

Как-то сразу же после объявления войны Англией и Францией Германии, в Париже, в издательстве « La

Renaissance du Livre» вышла моя книга по-французски, детские мои воспоминания о революции под названием «Une Enfance» (Одно Детство). Выслать ее критикам и разослать ее по книжным магазинам издатель не успел, но я получила первые авторские экземпляры — и послала их друзьям, в том числе и Набоковым.

В следующий мой приезд в Париж я, как всегда, зашла к ним, и В. Н. встретила меня больше чем сумрачно — В. не было — и сразу же начала меня обвинять в антисемитизме. В книге я рассказывала, прямо и просто, все, чему была одиннадцатилетней свидетельницей за годы революции и гражданской войны. Среди других драматических воспоминаний было и такое*:

Во время нашего перехода из советской России на Украину — последним обыском на самой границе руководила женщина-комиссар — еврейка — кожаная куртка — револьвер в кобуре. Забыть ее мне было трудно, не потому что под ее присмотром солдаты обыскивали нас, как и прочих беженцев, весьма грубо, не потому, что ехавшие под чужой фамилией, мы боялись быть задержанными так близко от спасительной черты, но потому что в нашем товарном вагоне, переполненном и грязном, ехали два несчастных кадетика, два брата, одному было лет 12, другому лет 14. Они были изнеможены, видимо, не имели ни копейки, и пассажиры украдкой им подбрасывали еду. Мальчики были настолько растеряны и неопытны, что не догадались одеться в любое тряпье, только бы снять опасную кадетскую форму, — да и документов

---

* Оно осталось и в расширенных версиях этих воспоминаний изданных в 60-х годах во Франции и Германии.

у них не оказалось. Мы и наши сопутники прошли благополучно, но мальчики были задержаны комиссаром и по ее приказу отведены за станцию. Пока мы грузились на подводы, ожидающие беженцев уже на украинской стороне, — раздался залп — малые белогвардейцы были расстреляны.

Я указала В. Н., что в моей книге существуют русские убийцы и предатели и что я считаю, что было бы малодушием с моей стороны свидетельствовать о виденном с оглядкой — на кого бы то ни было. Но по-видимому В. Н. принадлежит к тем людям, которые историков, раскрывающих псевдонимы Троцкого и Стеклова или приводящих фамилии убийцы царской семьи или «строителей» Беломорского канала, считают антисемитами. Перейдя от частного к общему, В. Н. обрушилась на весь русский народ, на «рабскую его натуру» и все прочее, что об этом народе часто говорится. Тут я ей заметила, что в книге моей я говорю всегда о какой-нибудь личности, о каком-нибудь случае — не обобщая, она же обвиняет огульно целый народ, что и есть, конечно, настоящий расизм.

Разговор был не лишен в моих глазах пикантности. Питая ненависть к нацизму и к Германии, в событиях того времени ни В., ни его жена ничем не участвовали, но В. Н. не могла не знать, что мы уже давно с мужем и уж никак не по личным причинам — да и к немцам, как таковым, мы ненависти не чувствовали, — принимали деятельное участие в антигитлеровских акциях: создали, пока Бельгия была нейтральна, чтобы противостоять нацистской пропаганде, «Общество Друзей Франции» и добывали визы для немецких евреев, в сотрудничестве с французским Пен-Клубом и его председателем Жюлем Роменом. Это, кроме дру-

гого, и приведет меня в сентябре 1940-го года в Парижское Гестапо. Муж мой, по возрасту не военнообязанный, записался добровольцем в бельгийскую армию (кончит войну с 80% инвалидности). Может быть нескромно об этом писать, но когда пишешь о Набокове в жизни, следует не забывать об его окружении.

Обвинение В. Н. в антисемитизме я нашла скорее комичным, но высказанное ею презрение к русскому народу меня не обрадовало нисколько и обеспокоило. Набоков был русским писателем и в те годы только таким себя и считал.

На чем могла зародиться ненависть В. Н. к России? Ее семья никак не принадлежала (как и семья моего друга Марка Слонима), к бедным местечковым евреям, которым жилось на Украине или в Бессарабии неуютно, а иногда и не безопасно. Слонимы — петербуржцы получили прекрасное образование и в той либеральной среде, в которой они вращались, вряд ли подвергались оскорблениям. Отец В. Н. был управляющим делами очень состоятельной женщины, М. П. Родзянко. Марк Львович Слоним, находящийся в родстве с семьей В. Н., говорил мне, что они не общаются с ним, потому что его семья стала православной. Причина, возможная, религиозной нетерпимости В. Н. для меня не была ясна. Насколько я знаю, В. Н. не исполняла предписаний своей религии, и если бы им подчинялась, не вышла бы замуж за нееврея. В эмиграции, опять-таки в той среде, в которой вращались Набоковы, антисемитские настроения вряд ли существовали. А за то, что происходило в Германии, Россия ответственна никак не была.

По поводу этого разговора с В. Н. можно задать

себе вопрос, как сам Набоков относился в конце 30-х годов к России. Я была одной из самых первых, кому В. послал до напечатанья их на двух рукописных листах два своих стихотворенья, подписанные «Василием Шишковым» и посвятил меня в эту мистификацию, на которую попался Адамович. Но явно не только для мистификации эти стихотворения были написаны. Поэзия, не в пример прозе, обману не поддается, слишком сильно в ней эмоциональное начало.

Эти два стихотворения «Мы с тобой так верили в связь бытия» и «Отвяжись, я тебя умоляю» полученные мною одновременно в 1938 г. (хотя в сборнике стихов Набокова в изд. Рифма они появились под разными датами и с некоторыми разночтениями сравнительно с моим вариантом), не могут быть ничем иным, как выражением истинных чувств автора, «трава двух несмежных могил» тому порукой.

О России мы целомудренно с В. не говорили. Я сама тогда писала, думая о России: «О тебе кричать или молчать, третье отсутствует решенье», но трагедия разрыва с ней, потери ее, отдаленья от нее отражались во всем, что В. тогда писал. Если бы В. Россию не любил — «прерывность пути» была бы для него незаметной и не надо было бы ему умолять ее от него «отвязаться».

От 1939 года у меня два письма от В. Одна открытка, написанная по-французски *, — из-за цен-

* В виду того, что Набоков стал амеркианским писателем, интересно отметить, что в его письмах ко мне зачастую найдется не мало французских слов и выражений, но ни одного английского.

зуры — подписанная им за него и за жену — очень мила по своей встревоженности. Он просит дать о нас сведения, спрашивает где моя мать, — (она успела из Берлина переехать во Францию в Розей ан Бри) и мой брат, он был тогда настоятелем Св. Владимирской церкви на Находштрассе в Берлине и благочинным церквей Западно-Европейской Епархии в Германии. Там он и остался до самого входа советской армии в Берлин. Письмо заканчивалось: «Мы тебя целуем и любим». В последнем письме В. пишет о каком-то манускрипте. Прежде чем мне его послать, он хотел бы получить ответ от Когана: «Буду тебе благодарен, если нажмешь на него». О каком манускрипте идет речь, не помню, а Коган был издателем «Петрополис» в Берлине. Он с 1936 года переехал в Брюссель, бывал у нас, но собирался перед неминуемой опасностью уехать подальше и, кажется, бедняга, выбрал Азию — никто не думал, что война перебросится и туда. С тех пор о Когане я ничего н слыхала.

В том же письме В. пишет о своих попытках поскорее добраться до США, благодарит меня, что я написала об этом моей сестре Наталье и сообщает, что пишет ей сам, прося ее также найти ему работу в Америке. «Единственная хорошая новость — это что Александра Львовна Толстая уже достала нам отличный афидевит. Зато денежная сторона ужасна». От Б. К. Зайцева слыхала, как он вместе с Марком Алдановым объезжали богатых евреев, собирая Набоковым деньги на дорогу.

Около 20-го мая, когда Набоковы подходили («Конклюзив Эвиденс») в порту Сен Назара к пароходу, отчаливающему из Европы в Америку, в воен-

ном госпитале, где я работала сестрой, выгружали все больше и больше раненых, и в эти же дни муж мой после изнурительной, хотя и краткой фландрской кампании брел, не признав бельгийской капитуляции, в Данкерк — чтобы пробраться в Англию. В немирном мире, где мы оставались до 1945 года, не было времени ни для литературы, ни для переписки.

«Кроме скуки и отвращения Европа не возбуждала во мне ничего», — пишет в своих воспоминаниях Набоков, хотя последние годы своей жизни он захочет провести как раз в «скучной Европе».

Но Европа, между 1940 и 45 годом была никак не «скучна», или скучна только для обывателя, т. е. для ненавидимого Набоковым «пошляка»!

Позднее добралась до Англии и я, не менее чудесным образом в 1942 году, после девятимесячного «путешествия».

В Лондоне мы и пробыли до мая 1945 г. Ни я В., ни он мне за это время не написали ни строчки. Но мы о нем вспоминали и надеялись, что в этой сказочно благополучной стране, настало для него и для его семьи благоденствие. Только позднее, случайно встретившись в Париже с Мэри Мак-Карти, бывшей в 40 годах женою Эдмонда Вильсона, я узнала, что первые годы им нелегко жилось и там.

В 1944 году в Лондоне мы достали его книгу о Гоголе, в 1945 г. — английское издание The real life of Sebastian Knight. (Подлинная жизнь Себастьяна Найта), читали его и в New Yorker'e... И только в 1949 году, обосновавшись наконец в Париже и узнав от сестры адрес В., я написала ему и в ответ получила

деловитое и четкое письмо от его жены. В. было уже некогда. Все же он прислал нам с милым автографом Bend Sinister. Эта книга мне впрочем не понравилась. Я нашла в ней мало набоковской иронии и слишком много личной, не переработанной, ненависти к тоталитаризму.

«Лолиту» я прочла в первый раз в запрещенном парижском издании Жиродиаса. Была ли я скандализирована? Да, слегка. Мы еще не были приучены к такому жанру, но как прекрасны были описания, как всюду сверкало набоковское мастерство! Да и было в этой истории что-то очень трагическое, искупающее то, что не нравилось.

По удивительному совпадению моя книга « The Privilege was mine » о нашем пребывании в Москве с мужем в 1956-57 годах вышла в том же ньюйоркском издательстве Путнам, что и официальная «Лолита». Я работала тогда на французском радио, писала по-французски исторические работы о России, бывала, хотя и начала отходить от такой потери времени, на литературных приемах и коктейлях. Когда появился французский перевод «Лолиты» у Галлимара, директор La Revue des deux Mondes, где я вела рубрику русской литературы, меня естественно попросил написать о Набокове. Поскольку моя статья в Cité Chretiènne о нем появилась в 1937 году и к тому же в Бельгии, и помня что В. нашел ее не только «прекрасно написанной», но и «умной и проницательной», и поскольку мое мнение о нем как о писателе за эти двадцать два года не изменилось, я и взяла эту старую статью в основу новой...

Статья вышла в августе 1959 года (русский перевод этой статьи в приложении).

Моя сестра в своем письме от 4 октября 1959 из Нью-Йорка сообщила мне: «29 сентября уехали В. Набоковы в Европу на «Либерте» и в первом классе! В. был огорчен и недоволен твоей статьей в Revue des deux Mondes. Не могла с ним спорить, так как статьи не читала. Но наша Ильина (тетка старших Набоковых) читала ее когда была в Париже, откуда только что вернулась, и в восторге от нее. Захлебываясь говорила, что статья **длинная, блестяще** написана и что она согласна с каждым словом. Она не знала, что ты «Жак Круазе» (этим псевдонимом, сохранившимся у меня со времени, когда я была военным корреспондентом, я подписывала в то время статьи и французские романы) и долго спорила, что статья написана не тобой, а мужчиной. Я ей **не** сказала, что В. не рад твоей статье и она, как только его увидала, стала статью хвалить и превозносить до небес. В. говорит что they quote (они цитируют) из твоей статьи и это ему вредит».

Не могла себе представить, чтобы что-нибудь могло В. тогда вредить, да и статья была благоприятна, но, может быть, и правда, именно из-за ощущенья, что В. больше не нуждается в дружеской поддержке — к прославленному писателю можно подходить без той мягкой симпатии, которую ощущаешь к еще недооцененному, — я написала более откровенно, что ли.

К неудовольствию В., я была, следовательно, подготовлена и, перечтя ее, даже начала подозревать, что именно его могло в ней раздражить. Ему могло не понравиться, например, замечание, что его судьба (за исключением случайного убийства его отца в Берлине) была, в общем, счастливее судеб его современников молодых эмигрантов. И то, что, никак не сравнивая таланты Набокова и Хемингуэя, я, през-

ренное это для него имя, привела в контексте, да и то, что, заканчивая статью, я упомянула, что этот год был годом Набокова и годом Пастернака. Даже еще и не зная отношения В. к «Доктору Живаго», я была уверена, что эта, в моих глазах прекрасная книга (и неудавшийся роман) В. понравиться никак не может.

Слухи о новом Набокове, никак не похожим на человека, с которым я была дружна до войны, до меня, конечно ,уже дошли. Всегда хорошо знающий себе цену В. начал чувствовать себя по-видимому Олимпийцем и ожидал неограниченного себе поклонения, к которому я не склонна по отношению к кому бы то ни было. В., в моих глазах, по-прежнему оставался замечательным писателем, и мы по-прежнему тепло к нему относились, памятуя прошлое и собирались с радостью с ним встретиться, едва только получили приглашение Галлимара на прием в его честь.

В Галлимаре шел обычный в таких случаях кавардак. Щелкали фотоаппараты, вспыхивали фляши, ноги путались в проводах, бродили журналисты и техники телевидения, писатели, критики, приглашенные и вторгнувшиеся незаконно любители таких событий и дарового буфета. В одном из бюро В. давал интервью, и в тесноте и жаре мы ждали, когда он появится среди нас. Он вошел и, длинной вереницей, толкая друг друга, гости двинулись к нему. Годы ни его, ни меня, конечно, не украсили, но меня поразила, пока я медленно к нему приближалась, какая-то внутренняя — не только физическая — в нем перемена. В. обрюзг, в горечи складки у рта было выражение не так надменности, как брезгливости, было и некое омертвление живого, подвижного, в моей памяти, лица. Настал мой черед и я, вдвойне тронутая радо-

стью встречи и чем-то, вопреки логике, похожим на жалость, — собиралась его обнять и поздравить — но, когда он увидел меня, что-то в В. закрылось. Еле-еле пожимая мою руку, нарочно не узнавая меня, он сказал мне: « Bonjour Madame ».

Я всякое могла ожидать, но это — это не было похоже на В. Скажи он мне: «Ну, милая моя, и глупости же ты обо мне написала», или, «а статья твоя идиотская», я сочла бы это даже нормальным при существующих в прошлом наших отношениях, но такая удивительная выходка человека, которого я помнила воспитанным, показывала в нем что-то для меня новое — и неприемлемое. Не мог же он думать, что я рассчитываю на какую-то там благодарность. Я отошла, позвала моего мужа, еще не успевшего дойти до В., и мы ушли, чтобы никогда больше не встретиться.

В тот день я потеряла друга, но писателя Набокова я не потеряла, и не было ничего им написанного, что меня бы не интересовало. И к тому же как-то шли ко мне самотеком воспоминания людей, знавших его в пору его ранней петербургской молодости, а затем в молодости берлинской, а затем и позднее до дней его международной славы и после нее *).

---

*) Я десятки лет читаю газеты и журналы: английские, русские, американские, французские, и, естественно, вырезала из них статьи, посвященные Набокову. Имеется у меня и Triquarterly № 17, изданный к его семидесятилетию. Но я, сознательно, не только не приобрела, но не заглянула ни в одну книгу, о нем написанную. Впрочем, когда моя книга была почти закончена, я получила от д-ра М. Туркевич-Науман ее работу « Blue evenings in Berlin » о его рассказах 20-х годов.

С ЧУЖИХ СЛОВ

Людей, знавших Набокова еще в Петербурге, за границей оказалось почему-то предельно мало. В Париже до сих пор живет Ирина Г. К., с которой я давно дружна. Брат ее Саба был однопартником Набокова по Тенишевскому училищу и находился с ним в очень дружеских отношениях. Ирина Г., на несколько лет моложе своего брата, помнит В. как раз в те ранние годы. Раз, вспоминает она, Набоков ее очень обидел. Написанные ею детские стихи Саба показал В., и В. на них написал: «Большие поэты обыкновенно пишут грамотно». И. Г. помнит веселость юноши Набокова, его шарм и его необыкновенную ч у в с т в и т е л ь - н о с т ь. Так, как-то во время футбольного матча В. неудачным ударом ушиб ее брата и страшно волновался, забегал его проведывать, звонил по телефону и никак не мог себе простить невольно причиненную другу боль.

Сразу после революции семья нефтепромышленников К. отправилась на юг, семья Набоковых оставалась еще в Петрограде. Оттуда В. отправил своему

другу Сабе шуточное стихотворное послание в Кисловодск. Письмо датировано 25. 10. 17.

Привожу тут краткую выдержку.

. . . . Все печально,
Алеет кровь на мостовых.
Людишки серые нахально
из норок выползли своих.

Они кричат на перекрестках
и страшен их блудливый бред.
Чернеет на ладонях жестких
неизгладимый рабства след...
Они хотят уничтоженья
страстей, мечтаний, красоты...
«Свобода» вот их объяснение,
а что свободнее мечты?
Распространяться я не буду...

Конечно все посланье написано по старой орфографии. Набоков бросает своему другу, тоже теннисисту, вызов на матч, сообщает, что в мае «я лежал в больнице, был у меня апендицит» и «что сто рублей за мой автограф любой извозчик уж дает»...

В 30-х годах семья К. обосновалась в Париже. По своим связям с Нобелями, тогда еще имевшими влияние на выборы нобелевских лауреатов, отец Ирины и Сабы сыграла очень важную, если не решающую роль в присуждении Бунину Нобелевской премии по ли-

тературе и вообще щедро помогал не только русским писателям и поэтам, но и простым эмигрантам.

После 12-летнего перерыва В. Набоков снова встретился уже в Париже, со своими друзьями. Из Берлина в феврале 1932 года он пишет Сабе, «как хорошо и весело было встретиться опять — в каком-то термосе сохранилось все тепло прошлого», прибавляя, что это правда, «а не писательский рокот». Так как после Парижа в этом году он впервые был у нас в Бельгии, то отмечает и это событие... В. «провел в Бельгии три приятных, но утомительных дня» и хвастается, что с честью вышел из своих путешествий, «расторопно», — впрочем потерял колодки и портсигар...

Сестре Сабы Ирине, Набоков сперва задает загадку: «Мое первое — город в Бельгии, мое второе — последняя в гамме нота, мое третье — красивый француз, а мое целое — спа-си-бо». Ирина послала ему фотографию, которая помещена в этой книге, он получил ее и считает, что «скромно выражаясь, я вышел неважно». Рассказывает о перипетиях обратного путешествия. Болван кондуктор не хотел пропустить его чемоданы в купэ — они были слишком тяжелы для одного человека, надо было их сдать в багаж, а так как один из них, большой, был без ключа, то он, чемодан: «от волненья и негодованья раскрылся, щелкнув зубами». Пришлось контролера подкупить, «а чемодан все продолжал содрогаться, и кричал галстук: прищемили!» — В. прибавляет «Как видите, и я умею писать под Сирина».

В 1934 году еще одно письмо Сабе. Набоков, видимо, просил найти его брату Кириллу работу в Париже, но без разрешения на работу эмигрантам не

давали визу. В. пишет, что его уговаривают приехать в Париж дать вечер, но он «тяжел на подъем». А ехать ему надо в связи с выходом его книг по-французски.

Привожу еще выдержку из письма Е. С. К. ее дочери — оно лишний раз свидетельствует о трагическом положении Набокова за пять месяцев до его отъезда в США.

18. 12. 1939

В. заходил на днях. Выглядит ужасно. Саба ему акуратно теперь выдает по 1 000 фр. в месяц (до сих пор получил 4 000), но, конечно, ему этого не хватает. Теперь он получил три урока по 20 фр. Итого в неделю 60 фр. К нему приходят ученики. В Америке ему обеспечена кафедра и есть вообще перспективы хорошо устроиться, но сейчас он не может ехать, так как ждет квоты».

К. (как и мой муж и я) — сердечно привязаны к Набокову тех лет — тронуты его благодарностью, его щепетильностью — восхищаются его талантом, радуются теплоте своих отношений с ним...

Другая моя приятельница, кн. Нина Александровна Оболенская, знала В. в Берлине в 1922-23 годах. Набоков тогда только что вернулся из Кэмбриджа, был очень светским молодым человеком, бывая не только в интеллектуальных кругах, но и в чисто светских. Его друзья смотрели на Набокова как на будущего великого писателя, все признавали его талант, ходили на его выступления. «Он читал по-особенному, очень

живо и увлекательно». Как раз в то время он стал женихом — свадьба впоследствии расстроилась — Светланы, Светика З. Ей было тогда 16-17 лет, «она была высокая, хорошенькая девушка, с большими черными глазами, как-то по-особенному сияющими, с темными волосами и смугло-золотистой кожей. От нее исходили радость и теплота». Я позволяю себе упоминать об этой молодой любви Набокова, во-первых, потому что это было не то, что определяется словом роман, а во-вторых, потому что Светлана — образ ее — отразился в некоторых женских героинях Набокова и к ней было обращено одно письмо с юга Франции, в 1923 г., копию которого она дала моей матери, по-видимому желая сохранить память о почти детском своем увлечении. Кстати, из известных мне немногочисленных увлечений Набокова, кажется, только Светлана была брюнеткой.

С этой дамой, уже вдовой, я встретилась в Брюсселе почти сразу после войны и как-то невольно подумалось, «а что было бы, если бы»... А письмо ей, в 1923 году посланное Набоковым после разрыва, такое прелестное, живое, теплое, — хотя уже чем-то уж очень набоковское, то есть писательское и просящееся в антологию, или по крайней мере в биографию. Судя по нему, В. работал тогда дровосеком на юге Франции, собирался поехать в Бискру, в Алжир... чтобы найти место, где «даже тени» Светланы не будет... (В своих интервью Набоков подчеркивал, что физическим трудом никогда не зарабатывал).

Иным остался Набоков в памяти барона Андрея Витте — который встречал его в 30-х г. в Лондоне у В. П. Волковой и у Саблеров. А. Витте на 7 лет мо-

ложе Набокова, и писатель показался ему порядочным снобом, «неприятно саркастичным» в спорах.

Поэт Анатолий Штейгер, много путешествовавший, собирался в Берлин и хотя к Сирину он, поклонник Адамовича, относился с пренебрежением, я посоветовала ему непременно встретиться там с Набоковым.

В длинном письме своем от июля 1935 г. А. Штейгер мне написал: «Его (Сирина) можно встречать 10 лет каждый день и ничего не узнать о нем решительно. На меня он произвел впечатление почти трагического «неблагополучия» и я ничему от него не удивлюсь... но после наших встреч мой очень умеренный к нему раньше интерес — необычайно вырос» *).

В январе 1937 года Фундаминский и Руднев привели Набокова к одной русской даме, живущей с дочерью в Париже. Эта первая встреча произвела на обеих большое впечатление, но почему-то дама эта записала в своем дневнике: «Какой страшный человек»!

Как-то по приезде в Париж в 1939 году, когда умерла мать В., зная, как он был к ней привязан, как страдал от невозможности ей помочь, я сказала при встрече с хорошо знавшим его (несколько профессионально) русским парижанином — не писателем: «Бедный Набоков! Вы знаете у него мать умерла», на что, передернув плечами и удивленно на меня взгля-

---

*) Это письмо опубликовано целиком в моей книге «Отраженья». Изд. Имка-Пресс. Париж 1975 г.

нув, мой собеседник заметил: «Ну, этот-то! Ему все все равно».

Так и был до отъезда в Америку наш Набоков и Набоков других — двуликим Янусом.

Поселившись в Монтрё, Набоков, по-видимому, никого из старых своих друзей не видал. Посешали его там только его родственники и друзья его жены. Но, может быть, иногда и рад был бы он встретить и ранее знакомых ему русских почитателей...

В 1969 году, в поезде, идущем в Лондон, муж и я повстречались с русско-американским профессором «Эмеретюс» и его американской женой. Мы разговорились. Они побывали в Швейцарии. Там, в горах, увидали они знакомого им по фотографии знаменитого писателя, с сачком, охотящегося за бабочками. Преодолевая робость, они к нему приблизились и представились. В. был очень приветлив, улыбался. Охотно начал разговаривать. Но вскоре показалась В. Н. Она его позвала. Набоков заторопился, на ходу с ними попрощался и пошел на зов.

Позднее В. встречался с советскими и бывшими советскими писателями, т. е. представителями той самой пролетарской литературы, которую он так презирал. Рассказы об этих встречах я принимала не без скептицизма, но воображать эти аудиенции могла довольно легко. По-видимому никто из посетителей не видал Набокова наедине, всегда в присутствии его жены. Могу себе представить, с каким чувством рассматривал В. представителей нового для него племени

— в независимости от их талантов — бесконечно далеких от него людей, книги которых он не читал.

Верю, что он все же был рад в старости, что омертвелая, но все теплящаяся в нем надежда иметь читателей в России оправдалась, и «в сущности совсем прозрачный» писатель Набоков стал известным в «стране немого рабства». На «великом просторе» появился читатель и «дикий» не остался «в неведении диком».

Мне труднее понять, чем может нравиться Набоков людям, которые в сущности, — почти все из них — отрекаются от той России, которая вырастила Набокова, тому читателю, о котором он так зло отозвался в 1951 году как «о новом, о широкоплечем провинциале и рабе».

Один из моих друзей, посетивший Ленинград, спросил у одного молодого поклонника Набокова, «что вам в нем нравится»? и получил ответ: «У него стиль аристократический», что опять-таки очень бы обрадовало Набокова.

Вижу, воображаю такие аудиенции, В., превосходно игравшего в созданного им для таких случаев Набокова, иногда и «паясничавшего» с рюмкой водки в руках. Один из ценимых мною советских поэтов утверждал, что когда В. говорили о том, как почитают его в России, и когда он слушал о России, «слезы струились по его лицу». Впрочем, это сейчас же опровергал близкий поэту человек. Не могу себе представить «залитое слезами лицо» В. — вижу в этом благородную проекцию, тонкость души того, кто увидел Набокова таким.

Вторично же никто из раз побывавших собратьев не приглашался — контакт установлен не был, да и на чем он бы мог установиться? Даже не на общности языка — общности такой быть не могло.

О несостоявшемся свидании Набокова с Солженицыным ходит много версий, одна из них типично набоковская. Только сам Солженицын может правдиво об этом сказать. Но все же и Бунин и Солженицын гораздо более великодушно говорили о Набокове, чем он об этих двух больших писателях.

Не совсем точно, что я в последний раз видала В. Набокова на приеме у Галлимара в 1959 г. Мне довелось его увидеть еще раз — к моему сожалению — на экране французского телевидения, и мне трудно теперь, как я ни стараюсь, отделаться вот от этого последнего виденного мною облика, еще более от меня заслонившего другой и дорогой мне образ. У молодого Набокова не было ничего нарочитого, и даже «провокационные» его утверждения в прошлом были не подготовлены а выдуманы в ту же минуту, когда он их говорил.

А в грустную парижскую ночь, заранее и тщательно подготовленная пьеса разыгрывалась на малом экране — знакомый мне, когда-то Ариэль тяжеловесно дурачил не заслуживающих его презрения зрителей. Ни один жест, ни одно слово, ни одна улыбка не были бесконтрольны. Фишка за фишкой, творчество Набокова, казалось, поглощал какой-то компьютор.

Незадолго до этой передачи французские зрители

видали на том же экране вдохновенное лицо Солженицына, сосредоточенное, пронизанное волевой и духовной энергией, где не было ни игры, ни подтасовки. Одна правда. Повидав передачу «Апострофы» с Набоковым, один французский критик заметил: «Мы увидали Сальватора Дали, переодетого швейцарским нотариусом!»

Более учтиво (правда, эта статья была помещена сразу после смерти писателя), Жерар Гильо в Фигаро так вспоминает эту телепередачу: «Перед нами предстал оледеневший человек, маскирующий свое беспокойство, скрывающий сердце под гордыней, а гордыню за «неприсутствием». Человек горящего холода и зачинатель дела, в котором сочетаются расчетливость и необъятность...»

С горечью пишу об этом и с болью, желая понять, найти причину и оправдание той игре, которая закончилась победой Валентинова над бедным Лужиным.

Пародия дошла до предела и сам писатель стал пародией самого себя.

И все-таки, и все-таки — Владимир Набоков самый большой писатель своего поколения, литературный и психологический феномен. Что-то новое, блистательное и страшное вошло с ним в русскую литературу и в ней останется. Он будет — все же, вероятнее всего — как Пруст, писателем для писателей, а не как Пушкин — символом и дыханьем целого народа.

На нем заканчивается русский Серебряный Век.



ЧИТАЯ НАБОКОВА

Вы-то хорошо знаете, что я
чистейшей искры выдумщик и
никого не сую в свои вещи...

В. Набоков, из письма 1936 г.

Несмотря на это, все повторяющееся в те годы утверждение, Набоков, не менее Толстого, пользуется действительностью. Реальность мира — это материал его творчества, из живых людей родятся его герои, главный из них, в разных арлекиньих одеждах — он сам. Да и что может быть для писателя, существа всегда интроспективного, интереснее его самого?

Мы имеем три автобиографии Набокова: «Конклюзив Эвиденс», «Спик Мемори» и «Другие Берега», одну романсированную, и во многих отношениях более откровенную, чем эти три — «Дар». Наконец есть и вымышленная, с примесью правды, может быть, дапе исповедь — «Смотри, смотри, Арлекины!» Кроме того, во всех произведениях Набокова, кроме как в романе «Король, Дама, Валет», всегда имеются элементы автобиографические.

Вымысел — прием. Действительность — материал. С ловкостью фокусника бросает Набоков в цилиндр платки, мячи, кроликов, чтобы вытащить из него то, что на них не похоже. Он шифрует самого себя, ду-

рача исследователей, которым приходится вытаскивать из-под щебня вымысла ту правду, что под ним скрыта. Если Пушкин «монолитен в своих противоречиях», то Набоков мозаичен в своем однообразии...

Я не знаю другого писателя, который в течение всей своей жизни продолжал бы писать о себе самом, обязательно включая в свои книги частицы своей биографии. Обычно, в первом романе начинающий романист старается так от себя «отделаться», и затем переходит к созданию героев, от него совершенно отличных. Флобер физически переживал страданья умирающей Эммы Бовари, не передавая ей свои собственные переживания. Персонажи романистов сборны, выдуманы, обычно для одного только произведения. Наташа Ростова, Китти Щербацкая, Анна Каренина, княжна Марья, никогда не вырвутся из страниц одного романа на страницы другого. Они неповторимые личности. Как и Мышкин и Настасья Филиповна и Евгений Онегин и Хлестаков. У Набокова похожесть персонажей, повторность их поразительна. Не только одни и те же навязчивые символы, как зеркала, но даже почти одинаковые образы переходят из книги в книгу, даже и предметы всегда возвращаются.

«Живой, невероятно милый» мяч мальчика Годунова-Чердынцева не навсегда закатился под нянин комод (Дар), он же красно-синий закатится и под койку смертника Цинцината (Приглашение на Казнь) и предстанет еще перед зрителями пьесы «Событие», когда через сцену катится сине-красный детский мяч.

Еще разительнее пример ковра. Земное существование подобно великолепному ковру. Оно не что иное, как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне. Это в «Даре», и в том же «Даре» эта метафора возвращается. Странность жизни «как будто на миг завернулась и он увидел ее необыкновенную подкладку». В одном стихотворении Набокову хочется так сложить дивный ковер жизни, чтобы узор настоящего пришелся бы на прошлый «прежний узор». В «Пильграме» мысли Элеоноры показывали привлекательную лицевую сторону, а в «Приглашении на Казнь» время складывается опять как ковер, складки которого можно собрать так, чтобы соприкоснулись два узора. У Лужина был гувернер, который умел показывать фокусы со стаканом и монетой, надо было, чтобы узоры монеты и скатерти совпадали, «совпадение узоров есть одно из чудес природы».

Тут хочется мне отметить удивительное совпадение узоров: Ренан сравнивал живые существа (êtres vivants) с ткачами, ткущими гобелены (шпалеры), которые создают оборотную сторону ковра, не видя узора его лицевой стороны.

Как ни зашифровывал себя Набоков, тем, кто был с ним знаком, легко найти его в его героях. Если сборный муж Нины («Весна в Фиальте»), кое-чем и похож на одного современника Набокова, он имеет много общего и с ним самим. «Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове», этот венгерский писатель «с выжидательным выражением египетских глаз», пишет по-французски, а не на своем родном языке и, познав «природу вымысла»,

он более гордится званием сочинителя, чем званием писателя, как и Набоков в 30-х годах.

В одном из самых замечательных романов Набокова «Даре», не менее чем Чернышевский, увиденный глазами Набокова, интересен и Годунов-Чердынцев, его биограф. Умный критик Кончеев — в вымышленном диалоге — упрекает его в «излишнем доверии к слову», что за собой знал и автор «Дара». Федор Константинович и Владимир Владимирович во многом похожи. И у того, и у другого «Петербургский стиль», «гальская закваска» и «неовольтерианство». Мартын (Подвиг), как и Набоков в молодости, имеет «ладность всего облика и движений». Он так же англизирован, как и Себастьян Найт с его желто-канареечным свитером — такой канареечный свитер носил в Кэмбридже Набоков — и с его спускающимися носками. Кстати Себастьян тоже вырос в атмосфере интеллектуальной изысканности, в которой сочетались русский шарм с европейской культурой.

Набоков давал в Берлине уроки тенниса, а у Мартына (Подвиг) «Так ныло правое плечо, так горели ноги».

Смурова (Соглядатай) и Набокова сближает не только то, что оба они дают уроки, но то, что между соглядатаем и наблюдателем разница не велика — она заключается в цели, в мотиве соглядатайства. Всегда зрячий Смуров, всегда зрячий Набоков, у обоих «воображение было так мощно»... У Смурова, как и у его создателя, можно насчитать по крайней мере «три варианта» его личности и при этом подлинник останется неизвестным. Так неказистый двойник облаго-

рожен. Да и то сказать, ни писателя, ни его персонажа как будто и нет. Образ их надо искать в «тысячах зеркал, которые их отображают».

Наделен набоковскими чертами и Виктор, сын Лизы (Пнин). Необыкновенный этот мальчик тоже имел в детстве «приятную свободность манер», но главное, уже в шесть лет «узнавал цвет теней, улавливал разницу тени от апельсина или тени сливы». В своих воспоминаниях Набоков пишет, что у него был «окрашенный слух». Подобно Артуру Рембо он видел буквы в красках. В «Даре» буква С «сияет сапфиром», а буква Ы «столь грязная». К тому же и сын Лизы и Набоков засыпают с трудом...

Набоков как будто все знает о себе, а кое-что даже и предчувствует, или чувствует — то зачаточное, что разовьется в старости.

Есть у него от Шока (Картофельный эльф), который не может «пропустить случай, чтобы не сотворить обмана мелкого, ненужного, но изысканно-хитрого». Не отожествляет ли он себя и с Горном из «Камеры Обскуры», который глядя, как слепой садится на свежепокрашенную скамейку, его об этом не предупреждает — питая свое творчество бессердечностью невмешательства.

В Лизе (Пнин) есть общее с одной молодой женщиной, которую Набоков знал в Берлине, в самом Пнине, герое самого теплого и человечного из всех его американских романов, найдется общее с автором, утерявшим «ладность движений». Недаром у Пнина так художественно болят зубы — они часто болели и у молодого Набокова. Когда я говорю о предчувствиях о себе Набокова, я думаю о другой замечатель-

ной его книге «Защита Лужина». Во время ее написанья Набоков был деятелен, подвижен, по его термину «расторопен», т. е. был еще включен в общение с другими. Подобно Лужину, зачарованный игрой, в старости он перейдет грань и войдет в отстранение, выпадет из игры.

Удивительно все-таки, как Набоков, так внимательно относящийся к своему творчеству, с такой беспечностью относится к повтореньям, он не мог не знать, что именно самое удачное определение, самая оригинальная мысль или фраза должны быть единственны... Что-то понуждало его к такого рода возвращениям.

Мартын (Подвиг) показывает Ирине, как сложить два пальца на хлебный шарик, чтобы осязать его как два шарика. То же делает и Круг в « Bend Sinister » для Давида.

Громадный фаберовский карандаш, который мать привозит больному мальчику в «Даре», возродится уже откровенно в воспоминаниях. Лиза («Пнин») живет в гостинице рядом с двумя молодыми педерастами, как и Ганин в «Машеньке». Пнин подымает свой палец в воздухе по-русски вертикально, как бы указуя на небеса, а не угрожающе-горизонтально по-немецки. Об этом жесте прочтем мы и в «Даре» и в «Других Берегах». Полубрат Себастьяна Кнайта повидает в Швейцарии бывшую его гувернантку, очень схожую с бывшей гувернанткой мемуариста « Conclusive Evidence ».

Прототипы романов и рассказов Набокова сущест-

вуют или существовали, не трудно догадаться, кто из зарубежных литературных критиков был Жоржик Уранский, а в другой книге Мортус. И у писателя, и у одного его персонажа тетка работает в американском посольстве.

Что касается «Лолиты», то, хотя Набоков и утверждал, что идея нимфетки пришла ему в 1940 году, на самом деле уже в «Даре» обозначена будущая Лолита, да и в «Приглашении на Казнь» двусмысленна Эмочка, «маленькая девочка с икрами балетной танцовщицы», так грациозно и обманно манящая Цинцината недостижимой свободой.

Приблизительно через 40 лет после «Дара», лет через двадцать после «Лолиты» и пять после «Ады», появится в «Смотри, смотри, Арлекины!» еще одна девочка — на этот раз уже не падчерица, а родная дочь В. В.. Отношения их двусмысленны, но невинны. Как и Лолита, Изабелла-Белл уйдет к самому обыкновенному молодому человеку. Он увезет ее в... СССР. Туда отправится, в надежде ее увидать, и В. В. На этом аналогия с Лолитой кончается. Что-то сумасшедшее было в погоне Гумберта Гумберта за Лолитой — тяжелое дыханье, мученье. Всего этого нет в «Арлекинах».

Но особенно меня поразило то, что промелькнуло в книгах до-американского периода Набокова об эротического рода литературе, и еще больше, кто это высказывал. Например, Герман в «Отчаяньи», «ощущая в себе поэтический, писательский дар» и к тому же «крупные деловые способности», подумывал, когда шоколадное его предприятие начало тонуть, почему бы ему не заняться другим — «например, изданием дорогих роскошных книг, посвященных всестороннему

освещенью эроса». «Отчаянье» написано в 1933 г. В «Даре» — 1937 г. — о будущей Лолите думает самый пошлый персонаж этого романа, отчим Зины Мерц — Щеголев. Зайдя в комнату своего молодого жильца, сидящего перед исписанными листами бумаги, он поведал ему, что, будь у него время, он бы «такой роман накатал»! Как и всем подобным ему людям, сюжет казался Щеголеву особенно удачным, потому что был взят из жизни. А сюжет его соблазняющий был таков: человек уже пожилой, но «в соку», знакомится с вдовой, у нее дочка «совсем еще девочка — знаете, когда ничего не оформилось». Вот девочка эта и побудила вдовца жениться на ее матери, и с тех пор отчим испытывает «соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду»... Сам же Годунов-Чердынцев в письме к матери пишет, с какой бы радостью он покинул «тяжкую, как головная боль страну», где «роман о кровосмешеньи... считается венцом литературы». Как могло случиться, что идея пошляка Щеголева была осуществлена Набоковым? Или то, что в «ненавистной» стране отвращало Годунова-Чердынцева стало приемлемым для писателя в «Аде»?

Тут и может быть подтверждение моей догадки, что и секретарю Найта и Щеголеву, и Герману, и другим несимпатичным персонажам передает Набоков кое-что свое, интимное, а не только героям «положительным», как Годунову-Чердынцеву или Найту.

А какое обилье писателей и биографов среди героев Набокова! Годунов-Чердынцев, писатель и поэт, пишет о Чернышевском, Себастьян Найт писатель, о нем пишет «шут» Джон Гудман, Шэд поэт — о нем пишет Чарльз Кинбот... Кажется ни у одного писателя нет такой коллекции воображаемых литературных собратий.

Кроме фокусников и обманщиков есть также и вдохновенные лгуны, как Смуров или Герман, который сам признается, что с детства одна из главных его черт — «легкая, вдохновенная ложь».

Из реальностей детства писателя интересна тема дуэли. Петербургские старожилы говорили мне, что отец Набокова действительно стрелялся с кем-то, сказавшим, что, женившись на Рукавишниковой, он женился на деньгах. Впервые мы найдем переживанья мальчика, случайно узнавшего, что его отец будет стреляться, в сборнике «Соглядатай», в рассказе «Лебеда». Там, на Крестовском Острове, состоялась дуэль между Шишковым (этой фамилией Набоков подписал свои два стихотворения о России) и графом Туманским. Сын Шишкова, Путя, узнав, что отец его выжил, зарыдал в школе от облегчения. Себастьян Найт в своей книге «Пропавшая собственность» вспоминает о дуэли своего отца во время метели на берегу замерзлого ручья (Черной Речки?). Там отец был убит. О дуэли своего отца Набоков напишет в « Conclusive Evidence », не указывая на ее причины, но уточнив, что, в сущности, обидчик отца был «недуэлеспособным». Клеветник матери Найта был « cad » — подлец.

Лично гнета тирании на себе Набоков не испытал, был только свидетелем ее в Германии; прототип тирана ему не встречался в жизни, и поэтому рассказ «Истребление Тиранов» и роман « Bend Sinister » остаются довольно абстрактными и бледнеют перед многочисленными свидетельствами о Гитлере или о Сталине не только очевидцев и жертв их злодеяний, но даже и перед подлинными «выдумщиками», как Орвелл.

Короткий — 9 страниц, рассказ «Облако, Озеро,

Башня» (Русские Записки № 2, 1937 г.) гораздо более тонко, а следовательно и более глубоко, чем даже «Истребление Тиранов» показывает зло тирании. Этот рассказ теперь мало кому из русских читателей знаком, вот вкратце его суть. Тихий герой Василий Иванович, кое-чем похожий на Пнина, «скромный, кроткий холостяк», выиграл на русском благотворительном балу билет на «увеселительную поездку». Поездка оказалась групповой — состоявшей из немцев и их вожака (фюрера). Как единственный русский, т. е. особенный, В. И. был немедленно и насильственно присоединен к большинству, и дальнейшее обернулось кошмаром. У В. И. был отнят томик Тютчева, который он собирался в дороге читать, ему запретили смотреть в окно, принудили участвовать в хоровом пении. Отняли от него и его провизию, булку, три яйца и любимый огурец (огурец был сразу же выкинут за окно), яйца и булку включили в общую закуску, причем В. И. дали порцию меньше чем другим — его паек был неказист. После отвратительной коммунальной ночи В. И. пришлось «цузаммен марширен», идти в ногу со своими спутниками по сельской дороге, не заглядываясь на окружающее. И вдруг, на привале, перед В. И. открылось «то самое счастье, о котором он, в полгрезе подумал». Синее озеро, отраженное в нем облако, и на холме, в зелени, старинная черная башня. Тут, подумал В. И., мне нужно остаться, — навсегда. Но едва он сообщил своим спутникам о своем решении и что дальше он не пойдет, обратно с ними не уедет, как вожак обозвал его «пьяной свиньей». У В. И. отняли его дорожный мешок: «Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь»! Остаться было verboten — запрещено. «Если нужно, мы вас понесем», — сказал вожак. Когда В. И. усадили в вагон, его начали избивать: «Было превесело».

С такой экономией средств — ничего не объясняя, ничего не подчеркивая, — Набоков больше сказал об угнетении, чем в дидактическом « Bend Sinister ».

Что сказать об «Аде», романе, по его собственным утверждениям, особенно им ценимом? На обложке удешевленного издания в Америке заботливый издатель начертал для соблазна покупателей: «Новый бестселлерный эротический шедевр автора Лолиты» (роман был впервые напечатан в 1969 году).

Эротический? Шедевр? На первый вопрос можно ответить утвердительно — если эротика заключается в количестве половых забав, которым персонажи «Ады» предаются с раннего детства и до старости, с прорезывающими эротику звуковыми и смысловыми набоковскими каламбурами — доказательствами авторской эрудиции вообще и в области международной лингвистики в частности. Мненья американских и английских критиков резко расходятся. Кто из них хвалит «Аду» со страстью, иногда и с подобострастьем, кто бранит без страсти, но не без насмешливости. Мне показалось, что это самая скучная из набоковских книг, в ней нет набоковской легкости, она какая-то вымученная. Подобно знаменитому зданью, сооруженному своими руками во французской провинции Изера отставным почтальоном Шеваль на рубеже 20-го века. Громоздкое, барочное, хоть и современное нагромождение камней (впрочем, теперь оно охраняемо государством не столько, как чудо искусства, сколько из-за его странности), это воплощение фантазмов покойного почтальона.

«Ада» — вавилонское смешение языков. Набоков щеголяет перед бедными читателями, знающими только один какой-нибудь язык, своим перед ними пре-

восходством и вкрапляет в американский роман слова и выраженья русские, французские и даже немецкие — уснащая все аллитерациями, каламбурами и литературными ребусами... (впервые, в The real life of Sebastian Knight — попадаются русские и французские слова в английском тексте).

Демьяна зовут Демоном — он отблеск лермонтовского демона — (упоминается и Врубель), одну сестру зовут Аква, другую Марина — целое же Аквамарина. Но и в «Аде» можно отыскать: Нирванат, Невада, Ваниада, Ван (Иван) и Ада главные персонажи книги. Ада — Ардор, ардер — жар. Эта запутанная хроника потомков, конечно, княжеской четы. История заканчивается в 20-х годах нашего столетия. Начинается же она с такой фразы: «Все счастливые семьи более или менее непохожи, все несчастные более или менее похожи». Читатель догадался, что так начинается «известный роман» «Анна Аркадьевич Каренин». Словами Набоков это может быть определено как « furnished space » или по-русски «меблированное пространство». И только в 4-ой части книги можно найти размышления постаревшего писателя о смерти и времени.

ЖЕНЩИНА В РОМАНАХ НАБОКОВА

Кажется, кто-то уже отмечал все увеличивающееся женоненавистничество Набокова. Действительно, спроси какого-либо читателя назвать хоть одно женское имя, им запомнившееся, из всех женских образов, созданных Набоковым, он назовет «Машеньку», — мпжет быть, а «Лолиту», — наверное, она уже стала нарицательной. Главные пресонажи у Набокова всегда мужчины. В лучшем случае женщины нейтральны, они не имеют собственной ярко обозначенной личности и существуют по отношению к рассказчику, живут в его отображении. Отображенная, тихая прелесть есть у Машеньки — Тамары. Промелькнет в «Соглядатае» Ваня с ее своеобразной красотой, бархатными глазами и веселым сиянием в них. Молчаливая Клэр — Себастьяна Найта, как и «Красавица» рассказа так названного, умрет в родах. Они останутся тенями, уступят место карикатурам: Лида Германа глупа, Марфинька, жена Цинцината — пародия, как и его мать. Лолита, потеряв соблазнительность нимфетки, потеряет и свое очарование, Анета «Арлекинов» — идиотка, Лиза «Пнина» — карикатура, наконец, в «Прозрачных предметах» Хюг Персон в полусне душит свою жену... Остается Ада? Но Ада половина Вана, составная часть его, не просто двойник или просто близнец, они сиам-

ские близнецы — одно существо, две половинки одного существа, дополняющие друг друга.

Кто Зина в «Даре»? Она умна, образована, холодна, обидчива... В ней нет тихой прелести Машеньки — Тамары, нет теплоты, нет души. Чем привязывает молодого Годунова-Чердынцева Зина, кроме понятного молодого влечения к девушке, рядом с ним живущей? Тонкостью своего понимания его писательских проблем, верою в его гений. Она хочет, чтобы Годунов-Чердынцев написал «что-нибудь огромное», у нее много планов для него. Она способна его поправлять — «так по-русски нельзя», она одарена «гибчайшей памятью, которая, как плющь, обвивалась вокруг слышанного ею», она, по словам Годунова-Чердынцева, незаметно «служила ему регулятором, если не руководством», Зина была уверена в гении молодого писателя: он «размахнется так, что все ахнут!!». «Барышня с характером», — говорили про нее ее знавшие. Сотрудница, соучастница того, что Годунов-Чердынцев задумал, Зина смотрела на его писанье как на что-то свое, негодовала на критиков, его не похваливших... Только ей он может говорить о своих планах. Она не эхо на его голос, она говорит вместе с ним.

И Годунов-Чердынцев, спрашивая себя, нужна ли ему вообще жена, уверен, что лучшей жены он себе не найдет. Ведь она верит, что он станет великим писателем, «какого еще не было», что Россия будет изнывать по нему, «когда спохватится». Правда, на вопрос Зины, любит ли ее Годунов-Чердынцев — он прямо не отвечает...

Совсем другой образ женщины в «Защите Лужина», девушки, которая станет женой героя. Все вни-

мание читателей обращено на самого Лужина и она остается в тени. Напрасно! Набоков ей придал такие редкие для своего отношения к женским персонажам черты, что на Лужиной следовало бы задержаться. В некотором отношении она антитеза Зины Мерц. В ней нет честолюбия, и выходит она замуж совсем не за маэстро Лужина, а за Лужина, затерянного в мире ребенка, смешного и патетического чудака, только для того, чтобы защитить его от какой-то опасности, хотя она и не знает точно от какой — но реальной, отчасти и от славы...

Молодые люди считали ее — заметим, что у жены Лужина нет ни имени, ни фамилии — милой, но довольно скучной барышней, мать — декаденткой, потому что она читала Бальмонта. Отцу ее нравилась ее независимость, ее тишина. Но сам Набоков называет в ней самым «пленительным» и незамеченным другими то, что в ней была таинственная способность души воспринимать только то, что «привлекало и мучило душу в детстве», «когда дух у души безошибочен». Она была открыта к смешному, забавному, но главное, у нее был дар жалости «ко всякому существу, живущему беспомощно и несчастно», будь то сицилийский ослик или гениальный и слабый Лужин.

Она, Лужина, была живой человек в мире неживых, у нее была горячность духа и при всей затушеванности ее роли — в ее действиях обнаруживается непоколебимость и решительность.

Это, мне кажется, единственный женский образ у Набокова, в котором мы найдем качества души, к тому же действенной, а не только созерцательной. Она не могла себе объяснить существование чужой муки — «в таком располагающем к счастью мире» и пресечь это чужое мученье было для нее необходимостью. Она чувствовала, что если ей сделать этого нельзя, то она сама задохнется и умрет. Она не любила

вещей, не занималась чужим мнением, вся была в другом мире, мире состраданья, но без всякой елейности или даже идейности. За Лужина она вышла замуж исключительно потому что он был беззащитен, таинственен. Если Лужину и можно с кем-то сравнивать, то это только с Перовой, любившей пианиста и композитора Бахмана, в сборнике «Возвращение Чорба». Перова с «лицом неудавшейся мадонны» и легкой хромотой, полюбила, впрочем, Бахмана коротконогого, плешивого, немолодого человека, к тому же пившего, все-таки за его дар. Дар Лужина был слишком необычен, чтобы очарование его могло распространиться на Лужину... У нее к нему была жалость как к слепому котенку, потерявшейся собаке, ребенку играющему над пропастью.

Многие почитатели Набокова считают, что русские его книги лучше американских. Мне думается, что среди русских, кроме некоторых рассказов, лучшие из лучших это «Защита Лужина», «Дар» и «Приглашение на Казнь» — они одни уже обеспечивают ему высокое место на русском литературном парнасе. Собственно говоря, в этих трех книгах уже заключается весь Набоков, весь его талант, весь его блеск, вся его виртуозность и все его тайные мысли, весь он сам. Из написанных по-английски — «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Пнин» и «Бледный огонь»... Но после «Лолиты» намечается спуск, творческий упадок. «Смотри, смотри, Арлекины», «Прозрачные предметы» и даже «Ада» — это только перепевы прошлого, оригинальность становится маньеризмом. Как будто иссякли творческие силы при сохранившейся виртуозности, и ремесло притушило творческий жар.

Может быть не хватало воздуха в пробковой ка-

мере последних лет, несмотря на окно, оставленное для лета бабочек...

Сам Набоков признавался, что соглядатайство, наблюдательность были у него развиты до чрезвычайности. Он презирал тех, кто не замечает лица, краски, движенья, жесты, слова, всего, что происходит вокруг них. В последние годы наблюдательность была оставлена без употребления, общение с «сырьем» — материалом для его творчества — прекратилось. Все надо было выбирать из ранее накопленного, заниматься самопожираньем, кормить собою, своим нутром, своими фантазмами книгу за книгой...

«Король, Дама, Валет» выпадает из удач Набокова этого раннего периода, потому что явно это было написано, чтобы пробиться в переводы, как и другая более удачная книга «Камера Обскура» для того, чтобы пробиться на экран — безденежье помеха для писательства и не расчищает путь гениальности.

Личные переживания Набокова, все им видимое и слышимое было необходимым ему материалом, «изнанкой ковра», который он ткал. В жертву Тирана ему было труднее воплотиться, чем в Цинцината, потому что он осознавал себя не только смертным, — смертником, но исключительным, особенным.

По его письмам, по его книгам, по его отношению к другим людям, можно проследить, как определялось в нем с годами последнее перевоплощение Набокова.

В первых своих произведениях Набоков прячет себя менее тщательно, к тому же мир для него еще не безнадежен. В 1929 году он видит смысл писательского творчества в изображении каждодневности, в бытовых мелочах «так, как они отражаются в ласковых зеркалах будущих времен». Но если молодой Набоков думает в этом же пассаже, что в нашем прошлом потомки найдут «благоуханную нежность»,

то в его воображении потомок этот, когда он наденет самый простой пиджак, будет «уже наряжен для изысканного маскарада».

Сатира, а иногда и юмор — виды отчаяния или признак обиды, вот отчего венгерский писатель в «Весне в Фиальте» всего только «мнимый весельчак». Постепенно исчезает из произведений Набокова острое ощущение счастья, пусть мгновенное, и радости. Последняя человеческая книга это «Пнин». Та «банальная боязнь банального», в которой он упрекал Катрин Мансфильд, появилась с течением времени у него самого.

Не устану повторять — пародийный дар у Набокова велик. В «Даре» один персонаж так прекрасно пародировал другого, что стал и в самом деле на него похож. Работая над своей книгой о Чернышевском, Годунов-Чердынцев «хочет все держать на краю пародии». В «Лолите» Гумберт утверждает, что «пародия всегда сопутствует истинной поэзии».

Вообще творчество Набокова можно уподобить современному барокко, по его цветистости. Да и подбор имен, которыми он дарит своих героев, часто аллегоричен. Шок — шокирует, Хорн — рогатый, Уранский — ... Кнайт — рыцарь, но произносится по-английски как Найт — ночь, Эдельвейс благородный — белый. Шед — из «Бледного огня» — полутьма, бестелестная тень, ширмы, издатель Персон — персона. (В 17-м веке Персуной звали портреты), Пнин — пень, дерево, тут что-то русское, добротное и без лукавства, в «Аде» по-русски есть и Да и Ад, и читать это имя можно с начала и с конца — короткая и дурная бесконечность.

Анаграмму своей фамилии, иногда точную, иногда приблизительную, Набоков любит вставлять в свои произведенья. То это Адам фон Либриков, то Мак Наб, то Нотебок, то Вивиан Даркблаум, то Вивиан Калмбруд. В «Арлекинах» В. В. старается вспомнить, с какой буквы начинается его фамилия, примеривает несколько их на букву Н — Небесный, Наборкрофт, Ноторов... В небольшой книге, написанной сразу после «Ады» — в ней всего 104 страницы — « Transparent things » «Прозрачные предметы» или «Прозрачные вещи», Набоков, философствуя, хоть и пишет как будто о проблемах писательства, опять-таки пишет о себе — Хюг Персон — издатель. Его знаменитый автор — Барон Р. живет в Швейцарии — впрочем, возможно, что издателя Персона и не существует вообще, барон же Р., не менее самого Набокова презирает Фрейда и у него плохая репутация насчет нимфеток.

Вопреки раннему его утверждению в письмах ко мне — «будем прежде всего сочинителями», Набоков к концу жизни ставит «звание писателя» выше «звания сочинителя», одновременно отожествляя творчество с памятью.

В предисловии ко второму изданию «Защиты Лужина» (Париж 1963), Адамович покаянно пишет: «Истинный художник улавливает законы, которым он подчиняет свое творчество, будучи однако сам не в силах найти им объяснение». Это знал и Пушкин, вдохновению, т. е. непонятному, отводя почетное место. Набоков выразил это непонятное в «Лужине», может, чувствуя эту не зависящую от него силу в самом себе. Но с годами, в своей гордости, он как будто не хотел быть обязан ничем такому иррациональному моменту как вдохновение. Он хотел сам творить законы своего творчества, верил в свою абсолютную

власть над ним. Ничего не должно было быть написано случайно, все сделано, все понято — как поэзия Поль Валери.



РОССИЯ

Россия долго держала его...
Старалась удержать его...

Набоков «Звонок»

А когда мы вернемся в Россию... Каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян.

А она ведь не историческая, — только человеческая...

Набоков «Дар»

Она была в его памяти странным смешением райской радости, неизбывного страха, горечи потери. Россия настойчиво и цепко пробивается в стихах, рассказах, романах Набокова. Сперва как что-то предельно живое, затем отмирающее — как эхо давно прозвучавшего голоса и, наконец, входит в открытую и тайную мифологию, Градом Китежом, Атлантидой, потерянным Эденом. Она населяется тенями, которые только память и может оживить. Она Зоорландия и Зембля.

Как бы ни настаивал Набоков, за последние двадцать лет жизни, что он не русский а американский писатель — это еще одна из набоковских масок. В интервью, данном им Альдену Виману в 1969 г., Набоков заявил, что «Америка единственная страна, где я чувствую себя интеллектуально и эмоционально дома». Мы можем этому родству не так уж верить, потому что Набоков только два раза, за почти 20 лет вернулся в страну, принесшую ему славу — т. е. как будто по ней он не соскучился. И на этот раз изгнание было

явно добровольным. Америка не обратилась в Зоорландию, она не мучила его снами, не смотрела на него «дорогими, слепыми глазами», не угрожала ему расстрелом или тюрьмой — если бы он туда вернулся...

И в «Лолите» и в «Пнине» описания американского континента и населяющего его народа сделаны как бы «извне», так, как видели и описывали их иностранные писатели, в частности англичане, не как свое, кровное, В «Лолите» Набоков или его alter ego не хочет «бросать тень на американскую глушь». Он называет ее трагической и эпической, но никогда не Аркадией. Райского в природе он там не находит, несмотря на всю ее красоту и даже на то, что может быть в ней похоже на русскую природу. То тропинка «подловато виляет», то в Новой Англии «кислая весна». В западной же Европе все еще было почти свое, домашнее, могущее переселиться в Россию. Берлинское небо еще нежно и над ним встает другое, «где верхушки лип» прохвачены желтым солнцем», где белая скамья «сияет в зелени хвой». Ганин и Набоков бродят в «светлом лабиринте памяти», они знают дорогу и на «ощупь и на глаз». На немецкой улице еще «блуждал призрак русского бульвара». В Швейцарии Мартын, впервые увидевший горы «гуашевой белизны» вспомнил — «густую еловую опушку русского парка».

Как и полурусский Мартын, полурусский Себастьян Найт, покинув Россию, чувствует себя эмигрантом. Заметим, что русский язык Себастьяна Найта чище и богаче чем его английский. Найт думает, что одна «из самых чистых эмоций изгнанника, это тоска по родине». Ему хочется «показать такого изгоя, напрягающего до предела свою память, чтобы сохранить картины прошлого».

Книга за книгой, до самой последней, отражает это напряжение изгнаннической памяти Набокова. России нет только в «Короле, Даме, Валете» — книге, которая, как я уже говорила, возможно была попыткой попасть в немецкое издательство, с чисто немецкой темой — как и в «Камере Обскуре» — просящейся на экран.

Но как спасти память о прошлом, не давая этому прошлому окостенеть, окаменеть? Мартына раздражало, что Арчибальд Мун относился к России как «к мертвому предмету роскоши». У Муна хранился «саркофаг с мумией» России.

В конце тридцатых годов не только Мартыну, которой в юношестве воображал себя, или снился себе изгнанником, но и всем нам стало ясно, что «изгнание... воплотилось полностью», что оно стало бесконечным, тогда-то и появились стихи Шишкова, — стихи-заклинания. Шишков-Набоков не отказывался от России, он умолял ее отказаться от него, не сниться ему, не жить в нем. Последнее, «чуть зримое сияние» России продолжало его мучить, звать домой, хотя дома уже не было и одни призраки бродили по аллеям усадебного парка и Петроградским набережным.

Только словом «изогнутым как радуга» мечтает поэт вернуться в «полыхающий сумрак России»...

Я не сразу заметила, что уже в «Машеньке» появляется тема подвига. Ганин говорит Подтягину о своем замысле, уже трехлетней давности, составить партизанский отряд, пробраться к Петрограду и поднять там восстание. Ностальгия подвига тоже, как будто, жила в Набокове, может быть, потому что ему было как-то совестно, что во время гражданской

войны он ничем не участвовал в этом, пусть обреченном на неудачу, действии, в котором участвовало множество его сверстников.

В «Подвиге» Дарвин, прервав учение, пошел добровольцем на войну, когда ему было 18 лет и провел три года в окопах. Узнав об этом, Мартын ощутил свой собственный опыт весьма малым. Боев в Крыму больше не было, но Мартын «с нетерпимым сознанием чего-то упущенного, воображал себе... легкую рану в плече».

Самое же решенье Мартына вернуться в Россию совсем не убедительно, творчески неудачно и именно из-за этого и кажется оно проекцией, авторским импульсом освободиться от своего комплекса. Вероятно, в молодом Набокове, как и в Мартыне, жила «мальчишеская тяга к опасности», как говорит мать Мартына, всегда Мартына от нее ограждающая.

Из воспоминаний Набокова я предпочитаю первую версию « Conclusive Evidence ». При позднейших переделках исчезает спонтанность. В первой же версии о том, как Набоков собирался поступить в армию, написано следующее: «В продолжение последней части моего... пребывания в Крыму, я так долго собирался поступить в Деникинскую армию» — и тут же пируэт, чтобы не подумали, что это была жажда подвига — «не так чтобы войти в предместье Петербурга ,как для того, чтобы достигнуть Тамару на ее хуторе».

Надежда вернуться на родину — одна мысль об этом возвращении сопряжена для русских изгнанников с ощущением страха, памятью о бегстве.

Немало было написано о Гоголе по поводу убежавшего от Агафьи Тихоновны Подколесина. Тема бегства в произведениях Набокова, как и многие другие его ключевые темы, повторяются с настойчивостью. В «Машеньке» Ганин убегает от «своей юности, своей России», боясь, увидев ее, потерять ее вторично — узор памяти мог бы не сойтись с узором вновь увиденного. Лужин убегает в смерть от одержимости шахматным полем, Цинцинат подготовляет свой побег по-иному чем Лужин, старается выпасть из смерти в жизнь. Пильграм хочет бежать, вырваться из мира «распятых крохотных существ», к трепещущим жизнью бабочкам — в Тенериф, в Лапландию, где хрупкие эти существа еще летают. Убегает с Паном 17-летний Себастьян Найт, Круг (« Bend Sinister ») видит возможность убежать в чужую страну, чтобы вернуться в свое прошлое, потому что в прошлом его собственная страна была свободной. Если время и пространство равнозначны, то бегство и возвращенье взаимнообменны.

Бежит Кинбот — или Шед — (« Pale Fire »), в Смерть от Рожденья и преследователей — исследователей, но главное от Рожденья в Смерть. Бежит куда-то Пнин, во сне, переодевшись. В беспрерывном бегстве, догоняя Лолиту, или увозя ее, мечется Гумберт Гумберт.

Все это, конечно, не считая действительного бегства семьи Набокова и всех тех, кто «тени его изгнаннического сна».

Страх тоже один из элементов Набоковского мира. Родина видится эмигранту Подтягину («Машенька»), «как что-то чудовищное». Вернувшись в свою страну, Круг (« Bend Sinister »), всхлипывая, заливаясь слезами,

мечется между двумя контролями, допрашивающими его на каждом конце одного и того же моста. В этой стране даже лицо Падука «растворяется в воде страха». В 1939 году, в повести «Посещение музея» рассказчик вступил в странный не музейный мир, очутился на панели, заново заснеженной, и «тишина и снежная сырость ночи были ему странно знакомы». Ему казалось, что он вышел на волю, в подлинную жизнь. Но радость перешла в ужас и страх, когда неосторожный посетитель музея «непоправимо» понял, куда он попал. «Увы, это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная».

Тут, случайно забредший на родину, стал судорожно рвать иностранные деньги, все то, что обрекало его на тюрьму или смерть. От всего этого надо было отделаться, т. е. в сущности, остаться нагим. И снова надо было бежать, «дико оберегая свою хрупкую, свою беззаконную жизнь». Нагота тут служит переодеваньем — маскарадом.

В « Conclusive Evidence » Набоков признается, что иногда он воображает себя увидевшим снова знакомую деревенскую местность, с фальшивым паспортом, под чужим именем. Но и раньше, в сборнике стихов, в стихотворении 1947 года, отображается эта мечта — хоть нелегально побывать в местах, хранимых памятью. И вот, в письме к кн. Качурину, некто переодетый американским священником живет в «музейной обстановке... с видом на Неву». Это путешествие после «тридцатилетнего затмения» остановило душу, в нем было «объяснение жизни всей». Но страх не покидает путешественника. Да и можно ли вернуться домой, в молодость?

Так неизбывно живет в Набокове память о России, и гораздо более драматично, чем у Вадима Вадимовича в «Арлекинах», более непосредственно, чем в «Письме к кн. Качурину» — Сирин был моложе — в стихах, написанных в 20-х годах, найдем мы такие строчки:

Бывают ночи, только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать...

И хотя поэт чувствует покров «благополучного изгнания»,

Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так, —
Россия, звезды, ночь расстрела —
и весь в черемухе овраг!

Как и поэтическому корреспонденту кн. Качурина, в конце своего писательского пути в «Арлекинах» Набоков позволит еще раз одному своему герою, Вадиму Вадимовичу, вернуться на родину, с «почти подложным», британским паспортом и остановиться в гостинице с видом на Неву, но как будто уже стерлась возрастом радость возвращения — причина возвращения не ностальгия, а желание видеть дочь. Стерся, истратившись в снах и мечтаниях, и страх. Вадим Ва-

димович не узнает бывшую столицу, он не был там никогда летом, да и не совсем законного туриста никто на родине не узнает, кроме приставленного к нему соглядатая — эмигрантского писателя возвращенца — и не знакомой Вадиму Вадимовичу некоей Доры. Охранная грамота Вадима Вадимовича — его международное признание — «Вы наша тайная гордость», говорит ему Дора. Ни радости, ни ужаса, ни триумфа, ни расстрела — sic transit...

Набоков живущий на Западе — двойник того, который жил в России. Кто из них тело? Кто тень? Кто подлинный, кто пародийный? Поразительная память Набокова, его постоянный, как будто врожденный позыв к пародии, не знаю, сознательно или подсознательно, привели его к пародии на стихотворение загнанного (и как писателя им не чтимого) — Пастернака. Стихотворение Пастернака было написано в 1959 году, после Нобелевской премии. В нем есть такие строки:

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

В 1961 году в альманахе «Воздушные Пути» № 2, Набоков так начинает одно свое стихотворение:

Какое сделал я дурное дело,
И я ли развратитель и злодей,
Я, заставляющий мечтать мир целый
О бедной девочке моей?

Что же это, случайно или нарочитая подмена России Лолитой, оскорбление родины, par dépit amoureux?

А в 1919 году в стихотворении «Панихида», напечатанном в Париже в 1920 г., в журнале «Грядущая Россия» мы найдем таке заключительные строки:

Ты — жестока Россия.

Слышишь ли, видишь ли? Мы с упованьем

— Сирые, верные, — греем последним дыханьем

— Ноги твои ледяные.

И там же, изнемогая от тоски по родине, в другом стихотворении «Вьюга» юноша Сирин вдруг предчувствует старого американского Набокова. Слыша, как «корчится черная Русь», он от боли, любви, от отчаяния, от нее отрекается.

Ах, как воет, как бьется — кликуша
Коли можешь, — пойди и спаси.
А тебе то что? Полно, не слушай...
Обойдемся и так, — без Руси.

НАБОКОВСКАЯ РОССИЯ

Когда я заметила, при встрече с ним, что Набоков столичный, городской, петербургский человек, что в нем нет ничего помещичьего, черноземного, мне кажется, я не ошиблась.

Сияющие, сладкопевные описания его русской природы похожи на восторги дачника, а не человека, с землею кровно связанного. Пейзажи усадебные, не деревенские: парк, озеро, аллеи и грибы — сбор которых любили и дачники (бабочки — это особая статья). Но, как будто, Набоков никогда не знал: запаха конопли, нагретой солнцем, облако мякины, летящей с гумна, дыхания земли после половодья, стука молотилки на гумне, искр, летящих под молотом кузнеца, вкуса парного молока, или краюхи ржаного хлеба, посыпанного солью... Все то, что знали Левины и Ростовы, все, что знали как часть самих себя Толстой, Тургенев, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Бунин, все русские дворянские и крестьянские писатели, за исключением Достоевского.

Тут все-таки хочется мне уточнить свою мысль. Когда я говорю о Набокове как о человеке города, я противопоставляю его русским писателям — помещикам, имевшим земельные корни и знание крестьян-

ского говора. Набоков, по-своему, мастер описанья природы. Она по-набоковски красочна и нарядна. Он находит для неба ли, заката ли, новые слова, новые оттенки красок и сравнений. В природе то стоит «веселая, что-то знающая тишина», то лежат в поредевшем лесу «еще дыша, срубленные осины»... В Африке «дивное и страшное тропическое небо»... «блистательные сабли камышей».

Больше чем домашние животные взгляд Набокова привлекает то, что сродни бабочкам — насекомые, как овод «с переливчатыми глазами навыкат». Он видит и «бледный испод» дикой малины, он сравнивает вершины берез с «прозрачным виноградом». Это все совсем новые эпитеты в русской литературе и почти все подчеркивают чувствительность зрения писателя и его уменье очеловечить природу, равное его умение придавать предметам человеческие черты (и обесчеловечивать человека).

Отсутствует в набоковской России и русский народ, нет ни мужиков, ни мещан. Даже прислуга некий аксессуар, а с аксессуаром отношений не завяжешь. Мячик, закатившийся под нянин комод, играет большую роль, чем сама няня. Промелькает в воспоминаниях «Синеносый Христофор», о котором мы ничего не узнаем кроме его синего носа, два лакея без всякого отличительного признака, просто: — «один Иван сменил другого Ивана». Немногим больше о дочери кучера Захара, Полиньке, крестьянской девушке, влюбленной в молодого барина и отпугивающей его своими грязными ногами, а раньше взволновавшей его своим детско-девичьим телом, когда она купалась в реке.

Низшая каста, отразившаяся в набоковском творчестве, это гувернантки и учителя. Набоковская Рос-

сия очень закрытый мир, с тремя главными персонажами — отец, мать и сын Владимир. Остальные члены семьи уже как-то вне его, но семейная группа пополняется наиболее колоритными родственниками и предками.

Не найдем мы также участия или соучастия Набокова к судьбе его родины и к судьбе его народа, ни жалости к его соотечественникам (единственный раз, насколько мне помнится — Набоков, по просьбе Файнберга, выступил в английской печати в защиту Буковского). Сын либерального политического деятеля, члена партии народной свободы, Набоков, несмотря на всю его любовь к отцу, предан был только своей личной свободе.

У Набокова — роман с его собственной Россией, она у нас с ним общая только по русской культуре, которая его воспитала. Общая родина наша — это Пушкин.

Россия для Набокова, кроме памяти о своей личной, еще «и пение Пушкинских стихов», и Русский язык единственное его достояние на «других берегах». Итак, вот еще одна оригинальность Набокова. Если невозможно себе представить Пушкина, Толстого, Гоголя, Лескова без русского человека — простолюдина, герои Набокова все замкнуты в узкий круг богатой буржуазии, высшего чиновничества и интеллигенции. Впрочем, есть бродяга («Отчаяние») и эпизодические персонажи его эмигрантских лимбов, но они вне набоковской, лично его России.

SOLUS REX

Эта ограничительная Россия, Эдем, из которого Набоков был изгнан, его королевство. Он не просто изгнанник, эмигрант, беженец — он принц или король, потерявший свой наследственный удел. В глазах Виктора даже скромный Пнин приобретает семейное сходство с болгарскими королями или средиземными принцами. Засыпая, этот необыкновенный мальчик подставляет образу своего подставного отца — образ отца — короля, предпочтившего бегство — отречению от престола.

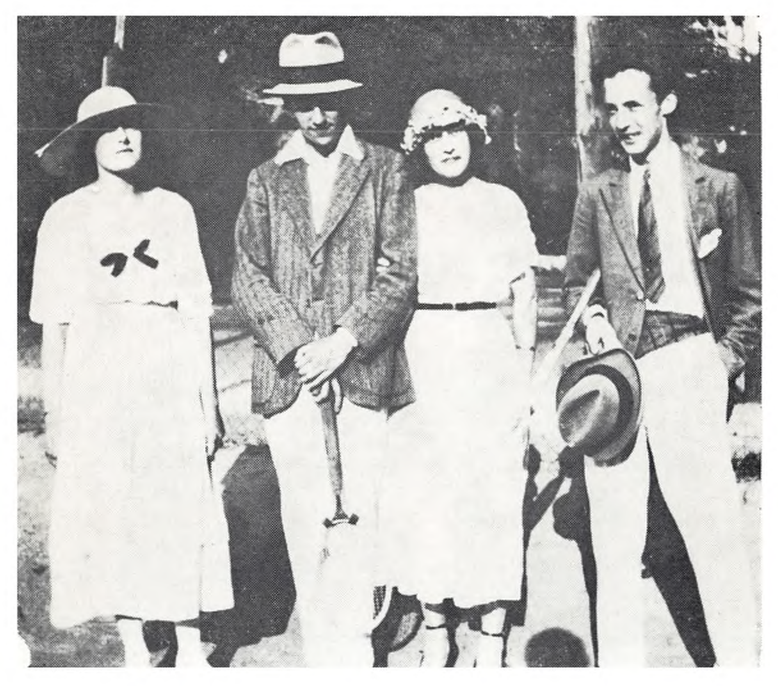
В интереснейшей и блистательной книге «Pale Fire» — «Бледный Огонь», можно видеть автора и его тень, — его сумасшедшего комментатора, плачущего о потерянной земле. Кинбот — неважно, сумасшедший ли он или нет, — считает себя низверженным королем далекой северной страны «Земблян». Он во власти своей памяти, во власти своего счастливого детства. В эмиграции король инкогнито становится американским профессором.

Кинбот — имя это означает — цареубийца, «Истребитель на нашем языке». Король, который топит и растворяет свою личность в зеркале эмиграции, в какой-то мере Истребитель себя самого.



«Посылаю Вам лучшую из моих морд»... 1937 г.

Архив З. Ш.



На тенисе, Берлин 1922 г. Слева направо : Татьяна Зиверт, Калашников, Светлана Зиверт, Вл. Набоков.

Архив З. Ш.



«Вышел я так сказать неважно»...

На Парижской Ярмарке 1932 г. Слева направо: Саба К., Николай Набоков, Ирина К., Владимир Набоков, Н. А. Набокова, Шаховская.

Архив З. Ш.



У В. Е. Кокошкиной, Париж 1937 г. Слева направо: Ирина Гуаданини, В. Е. Кокошкина, М. Н. Верещагина, Вл. Набоов, А. Д. Расторгуев, проф. Михайлов.

Архив З. Ш.



Ментона, Франция 1938 г. Слева направо:
З. Малевская-Малевич (Шаховская), Вл. Набоков,
Митя Набоков, В. Е. Набоова.

Архив З. Ш.

PALAIS DES BEAUX-ARTS -:- BRUXELLES

JEUDI 21 JANVIER 1937, à 20,45 h^res^

CONFÉRENCE

DONNÉE PAR

Wladimir NABOKOFF-SIRINE

Sujet : “ Le Vrai et le Vraisemblable „

à l’occasion du Centenaire de la mort de Pouchkine.

Prix : 10 fr. Salle de Conférences.

Les cartes peuvent être numérotées au Palais des Beaux-Arts, 23, rue Ravenstein, tous les jours, de 11 à 17 heures, (taxe de location : 1 franc).

«Правда и Правдоподобие» Пушкинский доклад В. Набокова, Брюссель 1937

Архив 3. I

Дорогимъ Зинѣ и Святику

отъ американскаго жителя

В

1949 Ithaca, N.Y.

Надпись на книге **Bend Sinister** 1949 г.

Существует ли такая страна «Зембля»? Может быть и нет ее на всем земном шаре, но тоска по ней у Кинбота реальна и ощущается им как духовное опустошение.

Никакая книга не должна иметь тайного значения, просто содержания — фабула не важна, все продолжает подчеркивать стареющий Набоков. Он хотел бы, чтобы мы видели в нем Фреголи, — только **ловкость** Фреголи — его оправдание. «Бледний Огонь» — прекрасное интеллектуальное развлечение читателя, а поэма в этой книге, в 999 строк еще и эстетическое наслаждение, — но всюду проскальзывает запрятанный за стилистическими и декоративными рисунками ребус Набокова. Там есть и курьезный пассаж: Кинбот, между прочим, обвиняет жену поэта Шеда в том, что она вычеркивает всякое упоминание о его «Земблe».

А годами раньше, в явно имеющей автобиографическое значение книге «Дар» и в не менее явно отображающем молодого писателя Сирина молодом писателе и поэте Годунове-Чердынцеве мы найдем в более замаскированном виде нечто подобное. Всем известно, что Набоков очень старался доказать происхождение своей семьи от вероятно не мифического, но историей не сохраненного татарского князька Набока. В «Даре» автор книги о Чернышевском носит фамилию двойную, Годунов — фамилия татарская — хоть и не княжеская, но ставшая царской, — Чердынцев — напоминает фонетически об Орде. Для мальчика Лужина плед был «королевской мантией».

Кто герой, кто «я» книги «Смотри, смотри, Арлекины»? Опять-таки *князь* Вадим Вадимович, отобранное именье его назыввалось «Маревом» — ми-

ражем. Американский паспорт, выданный Вадиму Вадимовичу, не отмечает его «наследственный титул». Больной спрашивает себя, нет ли в нем крови кавказского князя? Парализованный В. В. подвержен инъекциям, «магическим фильтрам», которые действуют не только на его тело, но и на божественность, в этом теле заключенную. Доктора-шаманы, трепеща, присматривают за сумасшедшим императором.

Да и в «Аде», этой семейной хронике, идущей от 18-го века до двадцатых годов нашего, Иван-Ван и Аделаида-Ада, потомки княжеских родов, князя Земского и княжны Темносиней.

Ностальгия по предкам заложена в человеке независимо от его социального происхождения, человек без корней тоскует о своем сиротстве. Снобизм бывает и интеллектуальным и артистическим. Есть снобизм этнический и имущественный. Снобизм же социальный распространен во всех классах и, может быть, меньше всего у старейшей аристократии. Потомки пиратов гордятся своими предками пиратами, потомки рабов видят себя детьми Спартака, сын трудового народа гордится своим рабоче-крестьянским происхождением, те, кто носят исторические фамилии, — престолом своих предков, и мы знаем, что сам Пушкин...

Если я упоминаю здесь о сословном снобизме Набокова, то потому, что он совсем не вяжется с его вольномыслием, с его антиконформизмом, с его отталкиванием от традиций и обычаев. Дело не в том, что в порядке воспоминаний Набоков уведомляет читателей о своих родственных связях, но в той настойчивости, которую он при этом проявляет. Человек,

определивший сам себя безбожником с «вольной душой, в этом мире кишащем богами» яростно отзывается на всякую попытку умалить родовитость своей фамилии, действительно старо-дворянской, но до 19-го века не такой уж известной, находит время опровергнуть одного рецензента, написавшего что его семья принадлежала к богатой буржуазии, сердится когда говорят, что семья его матери была промышленниками, т. е. купцами *) — до получения дворянства.

Правда, семья Набокова была очень богата, богатство это часть «королевского наследия». У Годунова-Чердынцева был особняк на Английской набережной и «родовое именье». В своих воспоминаниях Набоков упоминает, что на него смотрели косо в Тенишевском училище, потому что его привозили туда на автомобиле. (Тенишевское училище, не сословное, было самым дорогим из частных школ и гимназий, и не одного Набокова привозили туда на автомобиле). Тяга к своей исключительности как будто распространялась у него и на социальное происхождение, и на имущественное — собственность. А подлинная его исключительность конечно была только в его таланте, и приложений к ней не требовалось.

Совершенно несомненно, что Набоков ненавидел советский строй и октябрьскую революцию совсем не из-за того, что он потерял свое состояние, — я лично

---

*) Купцы «гости» уже в Киевской Руси были «именитыми людьми». Строгановы стали графами, но Третьяковы отказались от дворянства, предпочитая остаться «потомственными, почетными гражданами Москвы». Дворянство в России давалось легко, даже без особых заслуг. Дослужившись до определенного чина, военного или штатского, человек получал личное дворянство, переходившее быстро и в наследственное, для его потомства.

не знаю ни одного человека первой эмиграции, который бы ненавидел по этой причине, или даже за свое изгнанничество, новую власть. Все, и старые и молодые, были уязвлены другим — это с самого начала резко обозначенным решением этой коммунистической власти покончить со всем прошлым России, уничтожить ее культуру, ее духовные и творческие ценности, т. е. ее личность.

Но также несомненно, что память о бывшем своем благосостоянии задержалась ностальгией в Набокове. В воспоминаниях кн. Юсупова, вел. кн. Марии Павловны или кн. Долгоруковой мы не найдем этой ностальгии по роскоши или почету, которые их с детства окружали. Незамеченные в детстве эти «придаточные» к человеческой личности остались для них незамеченными и в эмигрантских лишениях.

Для Набокова — нет короля без территории, без бриллиантов его короны...

Король без королевства, одинокий изгнанный принц, «Потерявший за морем свой скипетр» — (Такая фраза есть в американском стихотворении Набокова «Королевство на берегу моря»), Набоков — Solus Rex — одинокий король.



НАБОКОВ И ДРУГИЕ

ПУШКИН

Как бы ни был связан Набоков с западной литературой, все же родная стихия его, его наследство — литература русская. И как бы ни была далека его личность, его мировоззрение от пушкинской аполлонической сущности, нельзя не верить, что Пушкин «вошел в его кровь». Только человек, до глубин приверженный Пушкину, мог с такой любовью взять на себя труд 4-х томного перевода на английский язык «Евгения Онегина» и комментариев к нему. Судить о качестве этого перевода я не решаюсь — это вне моей компетенции — но сознаюсь, что я с большим интересом читала примечания переводчика. Даже те, с которыми я не была согласна, вызывали часто мое восхищение, иногда улыбчивое.

Маленькое отступление: проф. Парри в своей статье в Н.Р.С. от 9-го июля 1978 года пишет по поводу этого перевода, что Набоков ему говорил, что переводить Пушкина на иноязычные рифмы — «сущее святотатство». По-видимому, он не всегда думал это, так как в 1937 году совершил такое святотатство, дав мне для редактируемого мною сборника « Hommage à Pouchkine » свой рифмованный перевод «Стихи сочиненные ночью во время бессонницы». (Тогда как я перевела, без рифм, два других стихотворения).

Какая эрудиция, какой литературный подвиг этот четырехтомник, (кроме всего прочего там и суд без милости над всеми предыдущими переводчиками «Евгения Онегина»).

Из примечаний к транслитерации, наугад приведу одно, в моем переводе, о произношении русской буквы В для англоамериканских студентов. «В, как в Виктории, но перед глухой согласной и в конце слова В переходит в звук Ф. Пример: булавка рифмуется с Кафка, нрав с телеграф, но своенравный и телеграфный, не рифмуются».

Итак я уже писала — пушкинская поэма для Набокова прежде всего — феномен стиля, это не «картина русской жизни» или, может быть, только малой группы русских. Персонажи взяты из западно-европейского романа и перемещены в «стилизованную Россию». Для переводчика Набокова единственный важный русский элемент в поэме — это речь, «Пушкинский язык».

В конце своего предисловия Набоков пишет то, что для него очень характерно — «в искусстве нет прелести без деталей — «подробностей»... «Все общие идеи, так легко добываемые и перепродаваемые, только потертые паспорта, позволяющие их обладателям быстрый переход из одного края незнания в другой». И, с подобающей ему нескромностью, предисловие он предваряет после первого эпиграфа — в виде посвящения своего труда Америке, строфой из Пушкина «И девственным лесам Младой Америки» — второй эпиграф: это отрывок из пушкинского письма, по поводу перевода мильтоновского «Потерянного Рая» Шатобрианом. Не имея русского подлинника,

мне приходится, к стыду моему, переводить Пушкина с английского.

«Теперь — неслыханное дело! Первый поэт Франции переводит Мильтона слово за словом, утверждая что этот точный перевод будет вершиной его искусства»...

Намек ясен: первый русский? американский? — поэт Набоков будет переводить Пушкина, слово за словом и это будет вершиной его искусства.

И все же задумываешься, что же от Пушкина в его младшем собрате Набокове? Довольно трудно отыскать в психологическом и в творческом облике Пушкина черты, роднящие его с Набоковым. Нет у Набокова ни возвышенности дум, ни детской шутливости Сверчка, ни удивительной совместимости ясности духа и темных томлений. И не написал бы Набоков «есть упоение в бою», потому что не было у него ностальгии молодого Пушкина по тому лихому гусару, которым он бы хотел быть в молодости. Ценил себя Пушкин не только за то, что «прелестью живых стихов», он был полезен, но все равно в какой версии — что «чувства добрые» он «в людях пробуждал». «Чувства добрые» и пробуждение их в людях как раз то, от чего Набоков отрекается как от чего-то, поэту и писателю совершенно ненужного. И до самой смерти пламенное сердце Пушкина никогда не стало замороженным.

И все же ясно: не будь у нас Пушкина, не было бы и Набокова.

ГОГОЛЬ

Пушкин в крови, а Гоголь? Многое в Гоголе было ближе Набокову и книга его «Николай Гоголь», изданная в США в 1944 году по-английски, несмотря на свои скромные размеры, устанавливает эту близость, хотя для этого и понадобилось собственное набоковское толкованье автора «Мертвых Душ».

«Отчаявшиеся русские критики, стараясь отыскать влияние и найти гнездо для моих романов, раз или два связывали меня с Гоголем, но когда они вновь всмотрелись, — я развязал узлы и коробка осталась пустой», так заканчивается книга о Гоголе.

Гоголь был «чревовещатель», он был не более реален чем Петербург, им описанный, то есть был «отражением затуманенного зеркала». «Реализм Гоголя только маска». Два первых тома Гоголя «Вечера на хуторе» и т. д. Набоков считает фальшивым юмором, потому что «клоун, появляющийся в расшитом блестками костюме, гораздо менее смешон чем тот, который одет погребальщиком». Он любит Гоголя «Мертвых душ», «Шинели» и «Ревизора». Пьеса Набокова «Событие» кое-чем напоминает «Ревизора». Там тоже все действующие лица ждут появления опасного посетителя. Страх — главное действующее лицо, страх

напрасный, бессмысленный, угроза не воплотится, опасность была мнимой. Почти на каждой странице Набоков подчеркивает то, что может быть у Гоголя истолковано как отношение самого Набокова к искусству. Выдумка, сочинительство, к подлинной жизни отношения никакого не имеющее, персонажи — не портреты, ситуации не заимствованы из жизн если иногда и случается «совпадение вымысла и происшедшего», то это только «вульгарная подделка художественного воображения» жизнью. Впрочем, и самого Гоголя нет, «тень Гоголя жила... жизнью его книг». Конечно Набоков восстанет против любителей искать какое-либо — «учительство» или мораль в гоголевских произведениях — морали в искусстве делать нечего. Тут опять: «Его (гоголевская) работа, как и всякое великое литературное достижение, феномен языка, а не идей». Почему-то Набоков считает, что обличение пошлости не имеет отношения к морали, а ведь пошлость, конечно, имморальна. Для Набокова же она только антиэстетична. Образцом пошлости он считает Полония, Короля и Королеву в Гамлете, Рудольфа и Гомэ в Мадам Бовари, молодого Блока у Пруста, Каренина у Толстого, Марион Блум у Джойса. В «Мертвых душах», пишет Набоков, Гоголь собрал великолепную коллекцию пошляков и Чичиков не человек, он абстракция, «его жульнические проделки только призраки и пародии преступлений», поэтому Чичиков и не мог быть подвегнут, как Гоголю хотелось бы, наказанию или искуплению. К пошлости Набоков относит все, что не соответствует его мерилу вкуса. Для Гоголя пошлость была грехом, унижением души и оскорблением Бога, для Набокова — преступлением против художественного вкуса — антитворчеством.

Не менее характерен подход Набокова к «Шине-

ли», «на высочайшем уровне искусства литература не **занимается жалостью к малым и осуждением великих.** Она отвечает потаенной глубине человеческой души, где тени других миров проходят как тени безымянных и бесшумных кораблей» — тут следует отметить слово редкое в лексиконе Набокова — душа.

В 1944 году, задолго до утверждения того же самого в работе о «Евгении Онегине», Набоков пишет, что в «Мертвых душах» не надо видеть подлинно русский фон и, приводя свой прекрасный перевод гоголевской Тройки, он напоминает читателям: «Как бы прекрасно ни звучало это последнее крешендо, с точки зрения стиля это всего-навсего болтовня *фокусника*, позволяющая предмету исчезнуть».

С другим Гоголем во многом, и в самом главном, противоположном Набокову, Набоков справляется очень просто. Религия Гоголя, по-человечески одаренного воображением, «была поэтому метафизически ограничена». Не менее смело восстает он против толкованья самим Гоголем «Ревизора» и «Мертвых душ». «Мы имеет тут дело с невероятным фактом писателя, который абсолютно не понимает и искажает смысл своей собственной работы!!»

Так, по-своему вывернув и этим приблизив любимого своего писателя к себе, Набоков в той же книге как бы ставит его выше Пушкина, определяя Пушкина как писателя трех измерений, а Гоголя всех четырех.

Отчего? «Гений всегда странен», — пишет Набоков.

Пушкин не странен, он гениален без безумия, Гоголь гениален и в конце своей жизни безумен. Сам Набоков, без нахальства, но и без скромности, откро-

венно сравнивающий себя только с великими, остановился, мне кажется, на грани гениальности и на грани безумия.

ЖУКОВСКИЙ

Интересно, что переводчик Набоков чрезвычайно хвалил переводчика Жуковского, считая, что зачастую его переводы выше оригиналов, и, по-видимому, гротескный церемониал, окружающий казнь Цинцината, был отблеском в его памяти проекта Жуковского — прямо поразительного по своей сентиментально чудовищной идее художественного оформления смертной казни в России. Она должна была, по замыслу Жуковского, происходить в торжественной обстановке, при скопище народа и пении гимнов, умиротворяющих смертника и возвышающих чувства свидетелей этого «празднества». К тому же, в «Даре» Набоков об этом проекте напоминает — как о позабавившем Чернышевского.

ДОСТОЕВСКИЙ

Есть элемент загадочности в той, все увеличивающейся ненависти, которую Набоков питал к Достоевскому. Достоевский (и Фрейд) был поистине его bête noire*). При всяком удобном случае Набоков

*) Второй объект Набоковского никогда не прекращавшегося публичного шельмования — это Фрейд: «Венский болтун», «Венская делегация», «Венский жулик». Его тоже Набоков забыть никак не может, зная, какое обширное поле наблюдения может представить для психоаналистов его творчество.

бранит или принижает Достоевского. Проф. Парри вспоминает, что когда он предложил Набокову прочесть лекцию о Достоевском в Колгэт США, «Набоков взорвался». «Да вы издеваетесь надо мной! Вы же знаете, какого мнения я о Достоевском! В моих курсах в Корнеле я уделяю ему не более десяти минут, у н и ч т о ж а ю (разрядка — З. Ш.) его и иду дальше». Достоевский для Набокова — журналист, а не писатель, он автор детективов, полицейских романов, наравне с Морисом Лебланом и Эдгаром Уоллесом.

Не только Набоков, но и Вадим Вадимович в «Арлекинах» считает политику Достоевского отвратительной, а романы абсурдными, там: «черные бородачи просто негативы Иисуса Христа», «плачущие проститутки» и т. д.

А ведь Достоевский не всегда был презираем Набоковым. В «Грозди» (изд. «Гамаюн», Берлин 1923 г.), он, по случаю годовщины смерти Достоевского, даже посвятил его памяти стихотворение:

Садом шел Христос с учениками...
Меж кустов на солнечном песке
вытканном павлиньями глазками
песий труп лежал невдалеке

. . . .
. . . .

И резцы белели из-под черной
складки, и с зловонным торжеством
смерти — заглушен был ладан сладкий
теплых миртов, млеющих кругом.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Говорил апостолу апостол:
«злой был пес, и смерть его нага,
мерзостна» . . . .
. . . .
Христос же молвил просто:
«зубы у него как жемчуга»...

Почему Набокову хочется «уничтожить» Достоевского? У всякого человека есть любимые и не любимые писатели, Бунин Достоевского не любил как писателя, ни в чем ему не созвучного, бесконечно от него далекого по проблемам, его занимавшим, и по не художественности — в глазах Бунина — его стиля. Но «уничтожать» он его не хотел, иногда перечитывал и никогда не обличал его публично. То, что нам скучно или неинтересно, мы обычно просто отбрасываем, Набоков отбросить, забыть о Достоевском не мог. Ему как будто было тесно рядом с автором «Бесов». Как будто он боялся, что вдруг кто-нибудь заметит, что несмотря на все, что их разделяет, есть и то, что позволяет их сравнивать.

В частной жизни Достоевский, по мнению знавших его современников, был — «непостоянен, переменчив, многолик. Порой он представляется личностью «отталкивающей, вызывающей острую неприязнь». Тургенев: «это русский маркиз де Сад» и тот же Тургенев: Достоевский, «обратное общее мнение» то есть парадокс.

То же самое приходилось мне слышать и о Набокове.

Странен «упрек» Набокова Достоевскому, что он автор полицейских романов. А что такое тогда «Король, Дама, Валет», «Отчаяние», «Камера Обскура»? Даже в «Лолите» есть «уголовщина», если судить только по фабуле. Нет ли элемента преступления и наказания в «Приглашении на Казнь»? Оба писателя были одержимы — по-разному. Пламенному исступлению Достоевского отвечает ледяная бесстрастность Набокова, но ведь и лед жжет. Люди разных эпох, разных социальных кругов и разных опытов, главное разных «вечностей» — относительная вечность искусства для Набокова, метафизическая вечность для Достоевского — были и литературно во многом похожи.

Не только автора «Лолиты» упрекали в слишком подробном описании половых перипетий Гумберта и Лолиты. Когда Достоевский читал Победоносцеву, Майкову, Страхову и другим «сцену в бане», они нашли «что она слишком реальна».

А разве не с присущей и Набокову издевкой — у него над читателями и исследователями — пришел Достоевский к Тургеневу: «Ах, Иван Сергеевич, я пришел к вам, дабы высотою ваших эстетических взглядов измерить бездну моей низости» и рассказал ему, как бы исповедуясь, про девочку в бане. Тургенев, конечно, вознегодовал, возмутился душой и это высказал. Достоевский же, уходя, сказал: «А я ведь это все изобрел, Иван Сергеевич, единственно из любви к вам и для вашего развлечения» *).

---

*) И. Ясенский. «Роман моей жизни», 1926.

И когда точно был сброшен с писательского Олимпа Достоевский, за какие провинности? За то, что так легко сравнить или уловить общее, пусть и в другом плане у обоих писателей: сложность и запутанность действия, комические положения в самых драматических событиях, издевательский смешок... одержимость страстями — любовью или игрой. Одень генерала Иволгина по-современному, он бы мог включиться в персонажи Набокова. Пошлый черт Ивана Карамазова все-таки сродни пошлому мосье Пьеру, хоть и в другом регистре. А любовь к деталям, проявляющаяся у Набокова всюду, но имеющаяся и у Достоевского? Чего стоит в «Бедных людях» пуговка Макара Девушкина, катящаяся прямо к стопам его превосходительства. «Моя пуговка — ну ее к бесу — пуговка, что висела у меня на ниточке — вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатилась и прямо-таки, прямо, проклятая, к стопам его превосходительства»...

А девочки, соблазнительницы и жертвы? И, наконец, еще одна общность: тема «двойников» — эти два господина Голядкина, один из которых утверждает: «Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с ней перед людьми каждодневно», или думает: «На этом господине парик, — а если снять этот парик, так будет голая голова». Ночной приятель Голядкина был «другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, — одним словом, что называется двойник его во всех отношениях...» Двойники все размножаются — «народилась, наконец, страшная бездна совершенно подобными...» Мир Достоевского зачастую тоже «сон, кошмар, безумие»...

Достоевский — метафизик бытия, Набоков — метафизик небытия, в каких-то безднах они соприка-

саются, но даже и такое соприкосновение при возможном сопоставлении его читателями — было Набокову невыносимо.

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

В своей статье «Возрождение Аллегории» (Современные Записки № 51 1936 г.) П. Бицилли приводит пассажи из «Истории Одного Города» и «Запутанного дела», вначале не называя имени их автора, Салтыкова-Щедрина, в уверенности, что те, кто забыл эти тексты, отнесут их авторство Сирину-Набокову. Иудушка и Герман из «Отчаяния» живут той же лже-жизнью, тоже вне логики, в том же мире намалеванных декораций, они не «человеки», а «куклы абсурда».

Не только Бицилли заметил, что иногда сходство приемов Салтыкова-Щедрина с Набоковскими доходит до мелочей. Бормотание адвоката Цинцината, потерявшего свою запонку и более занятого этой потерей чем судьбой своего подзащитного, до странности похоже на то, что в поисках запонок говорит Иудушка Головлев после смерти брата.

«Запонку потерял... задел обо что... очень дорожил... видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы, это видно было... вещица была дорогая» — («Приглашение на Казнь»). А у Салтыкова-Щедрина: «А помните маменька, у брата золотенькие запонки были... хорошенькие такие... И куда эти запонки девались — ума не приложу».

И в обоих случаях — это очень характерное, сати-

рическое сопоставление тривиального: запонки, с трагическим: смертью.

Слов нет, много общего у Набокова с Салтыковым-Щедриным, хотя бы один и тот же «вид раздраженья», но стилистическая грация первого оттеняет тяжеловатую поступь второго. Щедрин — тяжеловесный арденский конь, Набоков — английская чистокровка.

ТОЛСТОЙ

В написанной Набоковым в 1928 г. коротенькой поэме, напечатанной в журнале «Новь» в 1935 году и посвященной Толстому, можно уловить его отношение к Толстому. Поэма начинается так:

«Картина в хрестоматии: босой старик...»

Этот старик не очень воспламеняет воображение Сирина. «То ли дело Пушкин». Пушкин уже легенда. Жизнь Толстого не волнует, он слишком близок к Набоковскому поколению, он еще не окружен «лучезарной легендой», с ним еще «лестная близость». Он как-то слишком понятен, его можно звать по имени и отчеству. «Мы» — поколение Набокова — любит рассказанную им Россию, «Россию запахов, оттенков, звуков», и созданные им люди так естественны, что эти «мы» не раз узнавали среди толпы Каренину и «с маленькой Щербацкой танцевали». Единственная тайна, то чудо, когда «Толстой творил...», ведь живые люди родились в эту Ночь». Позднее, судя по откликам, мы знаем, что Набоков любил «Анну Каренину», но, например, отказался в США прочесть лекцию о Толстом вообще и о «Войне и Мире» в частности.

В книге «Николай Гоголь» находится такая шкала оценок Набоковым русских классиков, вернее, не шкала, а характеристика: «Уравновешенный» (steady) Пушкин, «Трезвый» (не подымающийся над реальностью) Толстой, «Сдержанный» Чехов. Это из признаваемых им авторов. О Тургеневе же: «Те русские, которые считают большим писателем Тургенева, не поймут Гоголя».

БУНИН

Я помню мое удивление, когда я прочла в 1978 году, в одном новоэмигрантском журнале, статью профессионально-литературоведческую, утверждающую, что Набоков был учеником Бунина. Удивился бы ей, несомненно, и сам Бунин, сразу признавший в молодом Сирине подлинно талантливого писателя, но настолько от него самого отличного, что в разговоре со мной в 1937 г. он назвал его «чудовищем», не без восхищенья впрочем. Сам же Бунин чудовищем себя не мнил, твердо помня свою литературную родословную, целиком русскую и классическую.

Никак не будучи учеником Бунина, поскольку влияние Бунина на его творчестве ничем не отразилось, Набоков в юности особенно почитал его как мастера русской прозы и особенно поэзии. В «Грозди» он посвящает ему одно стихотворение.

Как воды гор, твой голос горд и чист.
Алмазный стих наполнен райским медом.

Заканчивается это стихотворение из пяти четверостиший, торжественным, и как мы теперь знаем, не сдержанным обещанием.

Безвестен я и молод, в мире новом
кощунственном, — но светит все ясней
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом
не согрешу пред музою твоей.

«Художественный реализм» академика был даже прямо противоположен набоковскому экспрессионизму особого рода. И мироовззрения их не совпадали. В чем же «ученичество» Набокова? Другое дело Леонид Зуров или Галина Кузнецова, тут сомнений быть не может, — они ученики и, пожалуй, в первой эмиграции единственные, первого русского нобелевского лауреата.

Набоков в те годы, в которые я его знала, Бунина как писателя уважал и ценил, но и только. В своих американских воспоминаниях он о нем упоминает несколько презрительно — так о нем в 30-х годах не говорил. Память у него благодарностью или теплотой не отягощается. Лучше всех он отзывается в этих воспоминаниях о Ходасевиче. Он чувствовал расположение к этому «язвительному, худому, болезненному человеку, скованному, (wrought) из иронии и металлоподобного гения, поэзия которого была таким же сложным чудом, как поэзия Тютчева или Блока». Именно по высокому качеству своей язвительности, по тонкости своего поэтического чутья, нео-классик Ходасевич был близок Сирину. Кроме того и сам

Ходасевич, мало с кем сходившийся, не только ценил Набокова как писателя, но и всегда видал его с удовольствием.

В « Conclusive Evidence » Набоков отличает Марину Цветаеву, «гениального поэта» и Поплавского «далекая скрипка среди близких балалаек», но не потрудился ни разу с Поплавским встретиться, когда он был в Париже. С Мариной Цветаевой он, кажется, был знаком, но, видимо, также при ее жизни мало ею интересовался. Имя ее не встречается ни в одном из его писем ко мне, да и Марина Цветаева никогда о нем мне не упоминала — по-видимому, и сама особого интереса к Набокову не испытывала.

Несколько удивительно то, что в« Conclusive Evidence » Набоков пишет об «Адамитах», явно подразумевая под этой кличкой последователей не любимого им Адамовича: он странно соединяет тенденции этой группы с задачами кружка верного друга Набокова Фундаминского-Бунакова. Адамовича было трудно подозревать «в катакомбном христанстве», пусть и соединенном «с языческими нравами древнего Рима». Объяснение такого суждения, как и отношение к Цветаевой и Поплавскому дается, впрочем, самим Набоковым в той же книге: «автор, который интересовал меня больше всего, был, естественно — Сирин».

В этом поверхностном и пренебрежительном отзыве Набокова о его эмигрантских современниках — кроме Ходасевича, упомянутого им как поэта, но не как критика его неизменно поддерживающего, и трех милых слов по отношению к Алданову — отсутствуют имена других критиков: Г. П. Струве, В. В. Вейдле, П. Бицилли, М. Л. Слонима, отгадавших талант молодого Набокова и как-никак посодейство-

вавших его славе, с которыми он был к тому же лично знаком. Эта горделивая яабывчивость его замечательной во всех других отношениях памяти, покаятельна для позднего Набокова. Вероятно такое умолчание и объясняет, почему у советских поклонников Набокова создалось впечатление, что он не был узнан и признан эмиграцией, и справедливость требует опровержения этого мнения свидетелями того периода его жизни.

Среди очень малочисленных неблагоприятных критических откликов: Ходасевич, по поводу пьесы Сирина «Событие» отмечает ее «архитектурный недостаток». С. Осокин (в Русских Записках, январь 1939 г.) пишет, что в «Приглашении на Казнь» «внешняя акробатика и внутренняя схематизация и упрощение» и что там «с необычайной легкостью затронуты глубочайшие темы и с такой же легкостью разрешены». (С Осокиным я, конечно, совсем не согласна. Ни в одном произведении Набокова «глубочайшие темы не разрешены» — разрешены только проблемы писательского ремесла — но и другие писатели эти темы разрешить не могли).

ИНОСТРАННЫЕ ПИСАТЕЛИ

Пожиратель книг и словарей, одаренный необыкновенной зрительной и слуховой памятью, с чуткостью к музыкальности слова и оттенкам красок (и одновременно как будто закрытый для музыки и для художества как таковых — ни музеев, ни концертов он, по-видимому, не посещал), Набоков поражает универсальностью своих знаний в самых различных отраслях.

Боюсь не найдутся после Набокова, как нашлись после Пушкина, списки прочтенных им книг. Так ревниво оберегал Набоков свою единственность, что кроме признания его в романе «Дар», что «Пушкин входил в его кровь», мы не знаем писателей, на него, по его же словам, повлиявших. Наоборот: в интервью «Ньюсвику» он заявил: «Ни одна вера, ни одна школа не имели на меня влияния». Как будто он не хотел, чтобы исследователи нашли ему литературных предков, чтобы думали они, что Набоков возник свободным от всяких влияний, что искусство его родилось из ничего, из «табула раза...». Но нет человека, на котором его чтение не оставило бы следа.

Признавал ли Набоков себе равными Пруста и Джойса, был ли ему близок Флобер? Помнится, в

1937 году, когда я заметила ему, что в «Приглашении на Казнь» уходящая вслед Марфиньке мебель напоминает мне Джойса, он этим обрадован не был. Ни в одном из писем ко мне он не упоминает о Кафке, хотя о Кафке тогда гораздо больше чем теперь говорилось, Набоков писал мне больше о романах, хоть и нашумевших, но посредственных — в одной из своих книг упоминает даже о романе «Ариадна — русская девушка» Клод Анэ, которым тогда увлекались неприхотливые читательницы.

Я против обобщений, которые иногда приводят к комическим результатам (так однажды во время «круглого стола» французского радиовещания, парижские коллеги упорно называли Чехова русским Кафкой), но почему не воспользоваться сравнениями или сопоставлениями?

Болезнь и здоровье, зло и добро, сила и слабость, мудрость и глупость сосуществуют в одном и том же человеке и отражаются в персонажах Шекспира. Оттого и давал Пушкин предпочтенье Шекспиру перед Мольером с односторонними его героями, выражающими только одну страсть, одно качество, один порок.

Американский критик и эссеист Лайнель Триллинг написал, что Кафка знал существование зла, но не знал то, что ему противоположно — здоровье и положительные черты человеческого естества. Шекспир же знал обе эти стороны.

Набоков, как Шекспир, был в молодости чувствителен к «обеим сторонам», но быстро утратил двойное зрение, приближаясь к Кафке. От Кафки Набокова отдаляет отсутствие всякой тяжеловесности. В самых его пессимистических по замыслу вещах, всегда

есть какая-то игривость. Кафка как-никак все же принадлежал германскому миру, который, судя по многим фразам Набокова, кажется ему особенно подверженным пошлости — он и Фауста считает образцом пошлости.

Был ли ему близок **Флобер?** Это больше чем вероятно. С самого начала своего писательского пути Набоков был увлечен проблемой стиля, в конце его он отдавал уже предпочтение стилю перед содержанием. Ему как бы хотелось исполнить то, о чем только мечтал Флобер: «Написать книгу, которая бы держалась исключительно на внутреннем достоинстве стиля». Тот же Лайнель Триллинг написал: «Объективность Флобера наполнена раздражением, тогда как объективность Толстого наполнена теплотой... Эта теплота и создает иллюзию реальности в творчестве Толстого». Во всех своих позднейших книгах иллюзию реальности Набоков не создает, как у Флобера, этому мешает особый вид раздраженности. Теплота исчезла, и что-то глубоко личное чувствуется в одной небольшой, но потрясающей фразе в конце «Смотри, смотри, Арлекины!» там, где В. В. описывает свою болезнь и ее леченье: «Маленький русский доктор сделал меня более сумасшедшим, чем я был. Это растопило хоть один клапан моего замороженного сердца». Оледенелое сердце — последний этап раздражения...

Признавал ли Набоков **Пруста** равным себе или просто отдавал ему дань уважения? В 1961 году, в интервью данном им французскому журналисту Пьеру Бенишу, Набоков ответил так на вопрос, любит ли

он Пруста?: «Я его обожал, потом очень, очень любил, — теперь, знаете...» Тут, прибавляет Бениш, вмешалась госпожа Набокова: «Нет, нет, мы его очень любим».

Пруст, как и Флобер, как и Набоков, верит, что единственная реальность в мире — это искусство. У Пруста, как и Набокова, к своим героям нет ни особых симпатий, ни антипатий. Оба они мастера пастиша. В творчестве и того и другого сосуществуют два таких, казалось бы, противоположных начала: поэзия и карикатура. В отличие от Набокова Пруст чрезвычайно впечатлителен к музыке, живописи и архитектуре, и даже его «Потерянное и Найденное Время» построено как одно громадное здание.

Время и Память — два главных персонажа творчества Пруста и Набокова — это в сущности единственные протагонисты жизненной трагедии. Но память для Набокова — напряжение воли, дисциплина ума, для Пруста — подсознание, эмоция. Расхождение относится и к понятию о Времени. Набоков говорит, что не верит в Время. Пруст, под влиянием Бергсона (и Эйнштейна) различает два времени. Одно календарное, ограниченное — время нашего старенья, другое Время — длительности, протяжимости, почти вечности — то есть будущего.

Ван (Иван) в «Аде» занят в зрелом возрасте — природой времени, «тема, которая предполагает борьбу с осьминогом собственного мозга». Ван отрицает «трехстворчатость» времени: прошедшее, мгновенно умирающее настоящее, и то, что еще не свершилось — может быть, никогда не свершится... Для него время это диптих, прошлое, всегда хранящееся в его мозгу, и настоящее, которому его ум дает про-

должительность и действительность... «Будущее же вне времени», «как наши сожаления не могут вернуть прошлое, так и наши надежды не могут породить будущее».

Опасно пробить настоящее (время), «неопытный чудотворец» не удержится на поверхности вод, но спустится под воду «к удивленным рыбам».

В отличие от Набокова Пруст признает интуитивное знание — это продолжение линии Паскаля, которого Набоков, как он утверждает, не читал. Для Пруста истина познается не только умом, но и сердцем. Пруст всецело принадлежал своей эпохе, стране, на языке которой он писал. Он создал портретную галерею своих современников — у него нет героя без модели — он был скорее хроникером чем «выдумщиком» и, несмотря на это, а может быть поэтому, отвечая своей сущности, персонажи Пруста обладают свободой, незнакомой персонажам Набокова, который движет ими как шахматными фигурами. У Пруста не найдешь ни одного «непрозрачного» Цинцината...

Есть и другая разница: Пруст написал: «Я страстно восхищаюсь великим русским... Достоевским».

Интересно и отношение Набокова к «Новому Роману». В другом интервью в «Фигаро» 1973 года Набоков дарует **Роб-Грийе** почетное звание своего друга и говорит, что «Соглядатай» (точного перевода « Le voyeur » на русском языке не имеется), «Ревность» и «В Лабиринте» бесконечно лучше всех французских романов, которые он прочел за последние 30 лет, но

прибавляет, что он совершенно равнодушен к теориям автора этих книг. Как известно, сам Роб-Грийе по поводу своей первой книги «Резинки», заявил, что его задача это описывать поведение человека, не затрагивая его психологии. Французский критик Бартес, приветствуя «новый роман», определил его как «литературу алиби... без глубины, и без объема... литературой видимости». Сам Роб-Грийе считает, что «человек видит мир, но мир не возвращает ему его взгляда». «Соглядатай» одна из лучших книг Роб-Грийе, должна была понравиться Набокову, не так, конечно, случайным совпадением названия, но деперсонализацией описываемого, — точностью описываемого, — при неясности фабулы. Как яйцо в яйце, действие там запрятано, загромождено абсурдно точными деталями. Книга Роб-Грийе «В Лабиринте» — обесчеловечение солдата разбитой армии, блуждающего в заснеженном городе и умирающего от случайной пули — отвечала все развивающейся с годами наклонности Набокова «абстрагировать» своих персонажей при продолжающейся с первых его книг манеры «очеловечивать» предметы: шкап — похожий на беременную женщину, чашка — танцует, стол — покорен, галстук (в письме) — кричит...

Интересно, хотя бы вскользь, отметить тут коренное различие Набокова — может быть из-за его русскости, от некоторых иностранных его современников, отметивших нашу эпоху. Все они родились в начале 20-го века.

В безблагодатном мире **Сартра** единственное достоинство человека это его свобода. Бог — это страх человека. Если Бог существует, то человека нет.

Камю, в котором было предчувствие чего-то, что

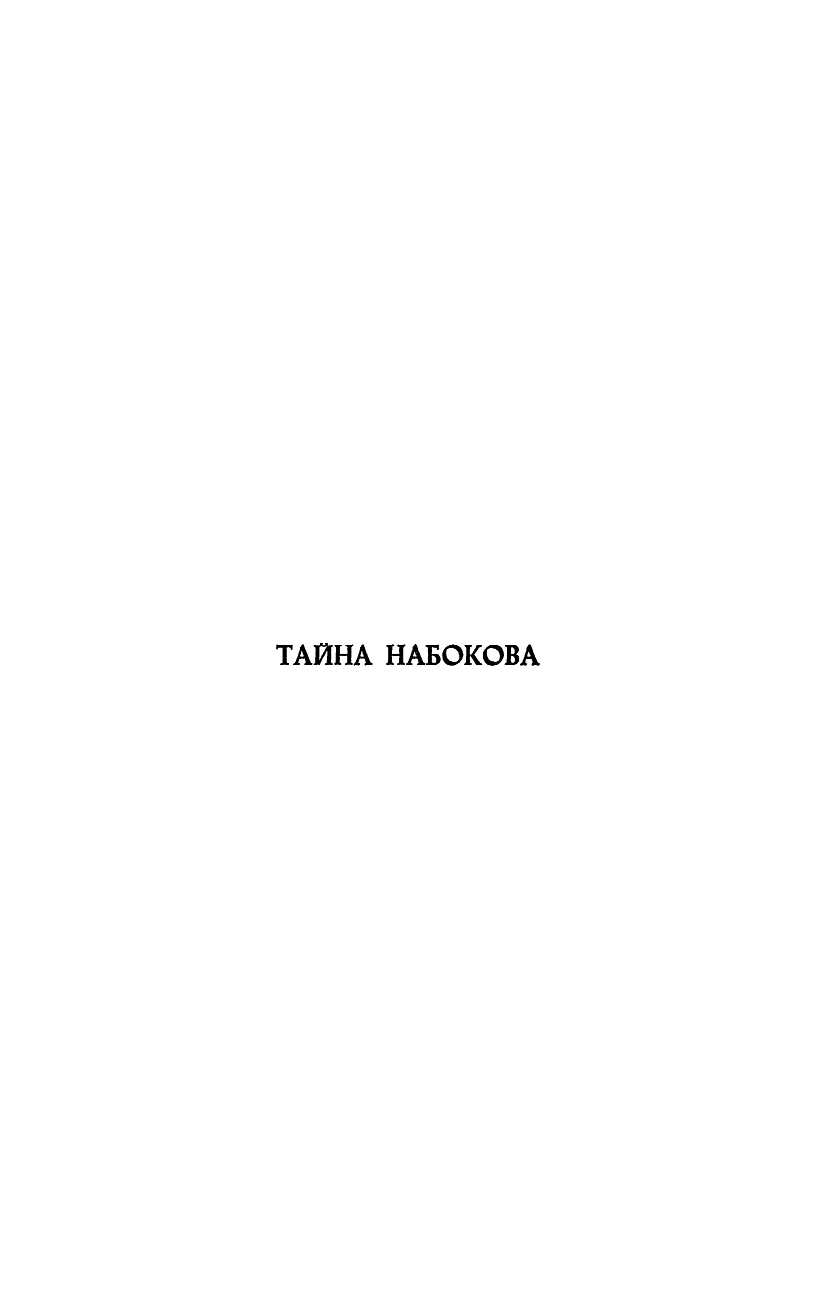
может ему еще открыться, сравнивает человека с Сизифом, побуждаемым неизвестной силой вздымать свой камень на вершину, хотя и знающим, что вершина для него недосягаема. Для «Калигулы» мир такой, какой он есть, невыносим. Ему нужна луна, счастье, бессмертье, но он и в безумии своем знает, что даже самый жестокий тиран ограничен в своей власти — солнце по-прежнему будет вставать на востоке.

Анти-театр **Самуила Беккета,** ученика Джойса, выражается в дезинтеграции языка, у Набокова в смешении языков, но и в служении им. Ничего нельзя назвать, ничего нельзя высказать. В «Ожидая Годо» четыре человека ждут своей смерти, которая никак не приходит, обмениваясь шелухою слов. Это полный нигилизм. Нету жизни, нет и смерти.

Для **Артура Адамова, ученика Антонина Арто,** искусство это — «праздник разрушения».

Наконец в «иррационалистическом» театре Ионеско, даже действие, т. е. в сущности жизнь, не необходимо. В самой его замечательной пьесе «Король умирает» — нечто вроде средневековой Danse macabre — абсолютный пессимизм — завоевание мира небытием.

Во всем этом не найти ничего общего с тем, что мучило Набокова, или отвечало бы на его вопросы самому себе. Нет д е м о н о в...



ТАЙНА НАБОКОВА

И со мной моя тайна всечасно

Набоков. Стихи 1942 г.

...Путь последний тяжел. Уже поздно.
Скоро свалят меня в придорожный бурьян,
а все прочее ржа и рой звездный...

«Лолита», 1967 г.

При ощущаемой нами в Набокове близорукости духовного зрения, редкие, но существенные намеки, разбросанные в его произведениях, о какой-то тайне, которой он обладает, особенно настораживают.

Сопоставляя его с Достоевским, я упомянула, что философская установка Набокова мне кажется метафизикой небытия.

Но что тогда его тайна?

Я познакомилась с Набоковым в 1932 году, когда он уже определял себя как «безбожника с вольной душой, (хотя, казалось бы, на что безбожнику душа?).

В виду того, что корни набоковского творчества следует искать в его детстве, небезынтересно знать, какую роль религия играла в его семье.

По имеющемуся у меня списку русских масонов — к таким спискам следует относиться с осторожностью — отец его Владимир Димитриевич был масоном. По воспоминаниям самого писателя, среди предков его матери, Рукавишниковых, были сектанты. Это вы-

ражалось в ней, пишет Набоков, «в ее здоровом отвращении от ритуала греко-православной церкви». По-видимому в этом англизированном доме не было и русского традиционного быта, который Лев Платонович Карсавин называл «бытовым исповедничеством». Все же Владимир был крещен православным. Нормально, живя в Петербурге до революции, он учился Закону Божьему, посещал церковь и исполнял ее обряды. Лужин недаром помнил, памятью Набокова, «ночные вербные возвращения со свечечкой» и исповеди в домовой церкви, и пасхальные ночи: «был запах ладана», и «горячее падение восковой капли на костяшки руки», все что будило томные воспоминания: «медовый лоск образа», или «вкусный церковный воздух»...

Юношеские его стихи в «Грозди» хоть и беспомощны, но не лишены религиозного чувства. В раю, где собрались русские поэты, «ширь весны нездешней, безмятежной».

В том же сборнике «бледные листики тихой сирени, кропят на могилах сырые кусты». Обращаясь к анютиным глазкам, поэт просит их сказать Богу: «Мы много страдали, котомки пусты, мы очень устали». В стихотворении памяти Достоевского, только Христос не отвернулся от дохлого пса. И так будет нежна райская песня поэтов Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Фета, к которым присоединится и Блок, что и мы русские изгнанники

в эти годы горести и гнева,
может быть услышим из тюрьмы
отзвук тайный их напева.

В самом начале двадцатых годов кн. Нина Оболенская, часто встречавшая Набокова в Берлине, помнит, что он ходил тогда в русскую церковь св. Владимира на Находштрассе. Брат мой, ставший в 30-х годах настоятелем этой церкви, там уже не видал Владимира Набокова (видал незадолго до его трагического исчезновенья его брата Сергея). Невеста Набокова Светлана принадлежала к глубоко верующей православной семье, брак с ней не мог быть вне церкви.

Как будто с годами Набоков все более становился агностиком — и даже воинствующим антицерковником. Параллельно развивалась и его достоевскофобия. Чужая вера его раздражала. Но это отчуждение от верующих шло постепенно. Выпады против Бога учащались. В сборнике «Возвращение Чорба» 1929 года мы найдем еще такое стихотворение как «Мать».

«Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив
спускается толпа...
Увещевающий уводит Иоанн, седую, страшную
Марию»,

и вопрос:

«Что если этих слез не стоит наше искупление?»

Третья строфа начинается так:

«Воскреснет Божий сын, сияньем окружен».

Нигде, ни в одной книге, позднее мы не найдем имени Христа. Как не найдем объяснения чуда писательства — Божьим даром, а в 1928 году в стихотворении, посвященному Толстому, Набоков написал:

... Так Господь
избраннику передает свое
старинное и благостное право
творить миры и в созданную плоть
вдыхать мгновенно дух неповторимый...

Отчуждение от духовного идет у Набокова с необыкновенной яркостью и в конце жизни дойдет до какого-то потустороннего страха или отвращения от всего что связано с христианством.

Очень показателен в этом отношении инцидент, о котором мой брат, Архиепископ Иоанн Сан-Францисский, мне рассказал и о котором он затем написал в «Русской Мысли» (1 июня 1978 года). Мой брат встречался с Набоковым еще до меня, в Берлине в 1923 году, а в последний раз — **после меня,** в Монтре Паласе, в разгаре дела Солженицына, когда Солженицын еще не был выслан из Союза. Прощаясь, мой брат хотел не благословить Набокова, — благословление дается тому, кто его просит, — но дружески обнять его «по русскому обычаю». И тут, пишет Владыка Иоанн, «с какой-то непонятной силой убеждения, Владимир Владимирович, помрачнев, нервно отстранился от меня и сказал, что «не любит таких прощаний».

Кажется во всей пастырской жизни Владыки Иоанна, встречающегося с очень разными людьми, с верующими и неверующими, и не только с православными, но и иноверцами, никогда еще такое «отстранение» не случалось, объяснение тут можно найти только в плане мистическом.

Мне легче всего расшифровать Набокова в трех, в моих глазах, самых лучших его книгах: «Зашита Лужина», «Дар», «Приглашение на Казнь». Камуфляж там еще довольно прозрачен. От метафизики можно отказаться, но самый глупый человек не может не думать о смерти, в частности, следовательно и о смысле жизни. Глупым Набокова никак не назовешь, и кончить «лопухом» его привлекать не могло.

Можно составить антологию из высказываний Набокова или его подставных персонажей о смерти. Раз о смерти вообще, то и об личности, о его набоковской личности, — ищущей самоутверждения, — порой Набоков вдруг как бы шепотом, признается нам в своих сомнениях.

Да, да, совсем не так легко примириться со своим полным исчезновением и с «лопухом». «Пытка бессмертием», пытка, потому что и его отсутствие не доказуемо. Умирающий Александр Яковлевич в «Даре» твердо знает, что после смерти ничего нет. Ему это «так же ясно, как то, что в эту самую минуту за окном идет дождь», «а за окном было солнечно».

«Защита Лужина», роман, о котором Набоков в своем позднейшем предисловии (к новому изданию) написал, что она построена как шахматная игра, интересна и той аналогией, которую можно провести с литературной игрой. Единственно, что занимало Лу-

жина, это была «сложная, лукавая игра», в которую он как бы помимо себя был замешан, и в которую, по своему признанию, был замешан и Набоков писатель. К Лужину ли только относится фраза — «бесплодность его загадочного гения»? Лужин был маэстро, Набоков был мастером — слово «бесплодность» относится к игре. «Ужас шахматных бездн», или ужас слов для писателя, ими одержимого, одинаков. «Время беспощадно», ничего нельзя доиграть или дописать до конца, все это призрачное искусство — бесплодно *).

«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» — небольшая по размерам книга мало кому известна. Не знаю, была ли она переиздана с 1945 года, и во всяком случае на русский язык она переведена не была.

Там некто Гудман, бывший друг, секретарь Найта, написал после его смерти книгу: «Трагедия Себастьяна Найта». Гудман шут, личность подозрительная. Набоков вкладывает в мнения Гудмана как будто то, что о нем самом говорят или пишут критики, но на самом деле я не помню, чтобы такое высказывалось кем-либо из них. Бунин предрекал Набокову: «Вы умрете в полном одиночестве», но никто при жизни Набокова не говорил, что он «слеп», и зная твердый обычай Набокова запутывать следы, легко предположить, что слова Гудмана это то, что он иногда и сам, мучительно — и поэтому особенно это скрывая — думал о себе, Гудман о писателе Найте: «Не перенося грубость мира, раненый этой грубостью, Найт скры-

---

*) «... Или ничего не получится из того, что хочу рассказать, а лишь останутся черные трупы удавленных слов...»
(Приглашение на Казнь»)

вал за маской свою боль, но маска эта превратилась в «чудовищную реальность». И надпись на груди Себастьяна Найта, на которой когда-то было написано «Я одинокий художник», была изменена «невидимыми перстами на надпись» «я слеп». К чему был слеп Себастьян Найт?

Трагедия Набокова, что он был как раз ясновидящ по отношению к себе, к себе даже больше чем к другим, и что собственное, как бы навязанное ему одиночество, слепота и «бесплодность гения» — еще раз удивительное тут несоответствие двух исключающих как будто друг друга понятий — гений и бесплодность — были его мучением.

Одержимость Лужина была абстракцией шахмат, одержимость Набокова распространялась глубже — была медленным охлаждением души, и с ним мертвели и его книги. Как заключительный аккорд появилась «Ада» — демоническое произведение, которое, в другом совсем плане, конечно, дает пищу ненавистной Набокову «венской делегации».

Итак смерть, ее жало, как и для всех нас, впрочем, ставит все под вопрос, включая, конечно, искусство. Ходасевич заметил, что Набокова отделяет мир творчества от мира реального, так же как жизнь отделена от смерти. «Умереть это раздеться»,читаем мы в «Пнине». Скрывающемуся под масками, под арлекинными одеждами Набокову оголение нестерпимо. Если только искусство путь к бессмертию, то все-таки даже и это бессмертие ограничено временем. Цинцинат, читающий в своей камере прославленный роман о Дубе, — думает «на что мне это далекое, ложное, мертвое, — мне, готовящемуся умереть».

Петр Бицилли считал, что никто не был так последователен, как Набоков в разработке идеи, «что жизнь есть сон».

В одном стихотворении, вслед за Шекспиром, до Пастернака, но вообще-то идея эта никак не нова, Набоков видит жизнь «богатую узорами» как театральную пьесу, неповторную, «поскольку она по-другому, с другими актерами, будет в новом театре дана».

Вот уже три варианта. Жизнь: сон, пьеса, искусство... Есть и четвертый: «никогда не читавший» Паскаля, Набоков выдумал французского мыслителя Делаланда и поставил его изречение эпиграфом к «Приглашению на Казнь». «Как сумасшедший верит, что он бог, мы верим, что мы смертны», тут смерть — иллюзия.

В его до-американские годы, кроме мотива отчаяния, в книгах Набокова есть еще отблески двойственности мира, то есть «всей муки и прелести» его, «всего что томит, обвивается, ранит» и что даже искусство не может выразить, переход «с порога мирского» в иную область, для которой и мастер Набоков не может найти названия, «пустыня ли, смерть, отрешенье от слова» или м. б. «молчание любви». Душа еще жива, но она «никому не простила».

В «Возвращении Чорба» счастье «во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество». В том же сборнике чудо лопнувшего кокона бабочки, слабые крылья вздыхают «в порыве нежного, восхитительного почти человеческого счастья». В рассказе «Занятой человек» граф Ит (графит), боящийся смерти, знает, «что не воспрещается верить в бессмертие души», но при переходе есть возможность «случайных

помех», какие бывают и при рожденьи. Граф Ит кого-то умоляет: «Дайте мне спокойно разрешиться моей бессмертной душой», но ему «еще подлее и ужаснее была мысль, что будущего века нет». Память и смерть — основные темы Набокова — вместе с темой обмана — отчетливо выступают в «Даре», посвященном его матери. Годунов-Чердынцев часто возвращается в «обратное ничто», рождение это выздоровление, «удаление от изначального бытия». Набоков ставит жизнь свою вверх ногами», рождение его делает его смертью, и бодрые, румяные старики идут в пасть инфернальной красоты гробов...

Для Соглядатая Смурова посмертная мука грешника состоит в том, что «живучая мысль его не может успокоиться, пока не разберется в сложных последствиях его земных, опрометчивых поступках», то есть свободная от тела мысль — «продолжает двигаться».

Если заменить слово мысль словом душа, то это недалеко и от христианского понимания загробных мучений.

Герману («Отчаяние») как-то совершенно не подходят рассуждения, не убедительно ему навязанные его творцом, они, как будто, вкраплены искусственно. Они повторение того, что мы найдем в «Приглашении на Казнь» или в рассказе «Терра Инкогнита»... Вот такой дубляж, многократное повторение одних и тех же мыслей и дают нам возможность думать, что это личные набоковские мысли.

В «Терра Инкогнита» все за смертью есть в лучшем случае фальсификация... «меблированные комнаты бытия», а в «Отчаянии», когда умерший очутится в раю и встретится там с теми кого не любил, то «какая

гарантия что... это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь демон мистификатор» ее изображающий, оттого и в раю «душа будет пребывать в сомнении!!» В «Отчаянии» найдем мы и одну из причин набоковского неверия — это гордость. Если я «не хозяин своей жизни, ...то никакая логика... не может разубедить меня в... глупости моего положения — положения раба божьего — и даже не раба, а какой-то спички». И хотя беспокоиться нечего, — если нет Бога и нет бессмертия — но беспокойство продолжается. Казалось бы, «веселый безбожник» мог бы удовлетвориться каким-то своим решением, но, по-видимому, выхода из томления нет. Герману легче принять рослого палача в цилиндре, Мосье Пьера, и с ним вечное небытие, чем «пытку бессмертием».

В начале сороковых годов, в своих стихах Набоков раздумывает — неужели и он сам когда-нибудь... но пока смерть еще далека, он все о ней продумает окончательно как-нибудь позже, но иногда ему хочется автора, автора своего земного существования — «в зале автора нет, господа»! Набоков не хочет быть «псом тоскующим о хозяине», забывая, что тоска пса вызвана не страхом, а любовью.

В 1945 году в «Подлинной жизни Себастьяна Найта», Найт, молодой писатель, написал — это будет его последней предсмертной книгой — «Сомнительный Асфодель» — на тему о смерти человека. Сам умирающий Себастьян врощен в свою книгу, она — эта книга — он сам.

Как и Набоков, Найт любит сталкивать, сопоставлять темы, прятать за словами их глубокий,

смысл. Но только перед самым своим концом Найт, наконец, начал обладать полной истиной, восхитительной и одновременно простой, и «выбором своих слов автор заставляет нас верить, что он знает правду о смерти и нам ее откроет». Ум первый, по иерархической последовательности, откликается на приближение смерти, затем сосуды, тело, но «демоны» физической немощи покрывают «нагромождением боли» возможность подведения итогов, память о прошлом, надежду и сожаления.

Где-то в страницах шедевра Себастьяна Найта находится «абсолютное решение». Это «абсолютное решение» начертано на мире, который нас окружает. Оно «удивительно по своей простоте», в нем перемешаны все человеческие знания, все идеи философии, религия, искусство.

В другом романе «Потерянное имущество» — Найт написал: «Единственно настоящее число это номер один: другие только повторение его». Все они выпали из обычной своей классификации и стали одним целым. Тысячи мелочей выросли до гигантских размеров — мир открылся душе.

Но когда эта тайна вот-вот вырвется из уст человека ее познавшего, уже поздно — человек умер, мертва и его книга не успевшая открыть, запечатлеть, выразить тайну...

Полубрат Себастьяна после смерти его сам становится Себастьяном. Книга заканчивается так: «Каким бы секретом Себастьян ни обладал, я тоже узнал секрет. Это, что душа это манера существовать, быть, — и всякая душа ваша, если вы следуете за ее движениями».

Полубрат становится Себастьяном, играет его роль на сцене жизни и все, кто окружал Себастьяна, окружают нового Себастьяна, но «старый фокусник ожидает за кулисами со своим запрятанным кроликом... и маленький лысый суфлер закрывает свою книгу». Свет гаснет — представление кончилось.

Набокову представлялось еще, что память — единственное, что дарует бессмертие тому, что нас окружало и окружает. Когда человек забывает предметы, он «обрекает их на умирание» — это в «Даре». В одной из позднейших его книг «Прозрачные предметы» уже не человек, а вещи становятся прозрачными. Тут появляется у Набокова новый мотив ностальгии, связанный с чувством своего возможного, уже не отдаленного исчезновения. Будущее не может быть сохранено нашей памятью... Прошлое сияет, просвечивает «через прозрачные вещи, будущее в них не просвечивает», оно та самая пропасть, куда человек проваливается. Это выпадение из времени в вечность. Как бы человек ни был велик, над вечностью ему власти нет.

Ван и Ада переигрывают, в их общей памяти, раннее их занятие — игру, «со странной идеей смерти».

В чем видят они самое тяжкое в процессе умирания? В том же, что и Себастьян Найт: для того чтобы умереть, надо отказаться сперва «от всего, что живет в памяти, затем принять безобразность физической боли» и, наконец, «безобразное псевдо-будущее, пустое и черное как вечное несуществование».

Как полагается, эти трагические размышления разбавлены неовольтерианской шуточкой: когда умирающий приземляется к небесной земле, «с вашей по-

душкой и ночным горшком... вам отводят комнату не с Шекспиром и Лонгфелло, но с гитаристами и кретинами».

Только раз, кажется, промелькнет у Набокова с силой отчаяния идея спасительной любви, не у Вана-Ады, а в его воспоминаниях, в главе 14-ой «Других Берегов»; там, сознаваясь в необоримой своей «привычке проводить радиусы *) от этой любви, не только к жене и к сыну (к кому-либо), примеривать эту любовь к безличным и неизмеримым величинам», к сетям вечности, к ужасу перед «крутизнами времени и пространства», сливающимися одно с другим. Этот «беззвучный взрыв любви» настолько поразителен для Набокова, что он спрашивает себя, не заснул ли его разум, так неразумно кажется человеку Набокову, что он мог «развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования».

В «Войне и Мире» то, что томило и радовало Андрея Болконского, человека гордого и неверующего, при пеньи Наташи, это была «страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам».

В сборнике «Стихи» есть стихотворение «Слава», помеченное 1942 г.: оно тоже чрезвычайно загадочно. Начинается оно с разговора автора с его совестью — или «пародией совести», в образе некоего «с копотью в красных ноздрях». Этот гадюка-шутник навязчиво

---

*) Кстати, в «Conclusive Evidence» привычка проводить радиусы от любви названа «зловредной» — прилагательное это выпало из русского текста.

напоминает писателю-изгнаннику о всем, что его мучает и терзает, но в конце Набоков уже не называет ужасного гостя пародией: он счастлив, что его совесть не затронула самого тайного. О тайном этом он сказать нам не вправе, тайна всегда с ним, все остальное, даже мечта о славе или отдаление от России только частность — и пустяк.

Ночь зашифрована, и в звездном алфавите и в себе самом, Поэт познает, что «он может себя превозмочь» — потому что «пласты разумения дробя» он увидел «как в зеркале, мир и себя и другое, другое, другое».

Какая тайна может быть скрыта от совести — почему совесть ужасный гад, с копотью в красных ноздрях? и «сводня»? Что открылось человеку, раздробившему «пласты разумения»? Так из книги в книгу полуоткрывается нам загадочный и сумеречный мир Набокова.

В «Даре» можно сделать так много открытий. Если белый карандаш нравился Годунову-Чердынцеву, то потому, что он рисовал невидимое, все оставляя воображению. И в том же пассаже поклонник Лермонтова и его Демона, Набоков пишет, что если уж рисовать этим белым карандашом ангела, то чтобы ангел этот был помесью райской птицы с кондором и чтобы он душу младую нес «не в объятиях, а в когтях».

Вместо черта Гоголя, или бесов Пушкина частый гость Набокова — печальный демон, дух изгнания.

В связи с упоминанием Врубеля в «Аде» и ощутимой в Набокове внутренней близости к «Демону»

Лермонтова, вдохновившего Врубеля на картину «Летящий Демон», курьезно здесь привести толкование советского искусствоведа Ю. Алянского этой картины:

«... кажется под ним простерлась чуждая мертвая планета, где ни единый звук, ни единый проблеск света не согреет вечного странника. Холодной тоской вечного одиночества веет от картины. Оно страшнее смерти, потому что вечно. Такое вечное одиночество ужаснее самой страшной казни, потому что всякая казнь имеет конец...» *)

Ада — роман демонический, но и до Ады и после Ады образ демона мелькает то там, то тут. В «Даре» читаем, что в нашем обычном существовании, в «зловеще-веселом соответствии» с ним, развивается и «мир прекрасных демонов». Но у этих прекрасных демонов всегда есть какой-нибудь «тайный изъян», что-то их уродующее. В «Смотри, смотри, Арлекины» Вадим Вадимович, «фальшивый близнец» — Демон заставил его воплощаться или идентифицировать себя с другим писателем, более великим, сильным и жестоким, чем Вадим Вадимович. Демон отражение зеркал, демон пародии, демон пустоты: «Свет по сравнению с темнотою — пустота» («Дар»).

Ночь Набокова хорошо зашифрована, а тайна вряд ли открылась и самому Набокову до конца, или была лже-тайной. А если открылась, то так же, как открылась созданному им Себастьяну Найту — слишком поздно — он не успел ее высказать, — он был мертв.

---

*) «Рассказы о Русском Музее». Изд. Искусство, Ленинград-Москва, 1964 г.

Однажды он со станции случайной
в неведомую сторону свернул.
И дальше ночь, безмолвие и тайна... *)

Париж 2 ноября 1928 г.

---

*) Из стихотворения «Толстой», В. Сирин «Новь» 1928 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Автор сознательно сопоставляет тут две свои статьи, 1937-го и 1950-го гг., несмотря на имеющиеся в них и в тексте книги повторения, чтобы оттенить разность оценок их Владимиром Набоковым до его мирового признания и после него.

« La Cité Chrétienne »

Bruxelles, Juillet 1937

МАСТЕР МОЛОДОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВЛАДИМИР НАБОКОВ — СИРИН

(Перевод с французского *)

Ровно год тому назад я сидела с Иваном Буниным на террасе парижского кафе и мы говорили о молодой русской литературе.

Бунин высказывался очень скептически: «Молодые не знают своего ремесла» — сказал он. — «А Набоков, Иван Алексеевич?» — спросила я не без лукавства. Бунин помолчал. — «Этот-то уже принадлежит к истории русской литературы. Чудовище, но какой писатель»!

К бунинскому мнению прибавлю наугад выбранные из статей русских критиков цитаты: «Дар воплощения соединяется у него с безудержной стилистической фантазией» (Адамович). «Сирин преимущественно художник формы литературного приема» (Ходасевич). «Сирин самый законченный, самый большой и самый оригинальный из писателей эмиграции» (Струве)...

Этот тридцатисемилетний писатель порождает споры и противоречия, никто не оспаривает его громадный талант, но каждый оценивает его по-своему. Что же до самого Сирина, то он смеется над наложенными на него этикетками и, может быть, даже над своим успехом. Самое важное для него это — писание.

Читая Сирина можно испытывать сомнения и замешательство, притяжение или отвращение от того что им написано, но всегда остается впечатление в присутствии чего-то чудесного, — писателя тронутого гением, кто нам не должен давать отчета. Он идет своей дорогой. «Чудовище» утверждает Бунин, скажем странный цветок, расцветший на старом стебле русской литературы, крепко связанный с ее сущностью и одновременно так резко от нее отличный, что некоторые иностранные критики не признают Сирина за русского писателя.

Думают ли они, что быть русским писателем это следовать по стопам тех, кто шел перед нами, упрямо возобновлять старые эксперименты и игнорировать искания времени? Новая жизнь требует новых форм и, мне кажется, что именно Набокову-Сирину принадлежит честь и ответственность за новую струю в русской литературе.

Никто до него не творил в таких условиях, Сирин первый русский ставший писателем в эмиграции, он также первый из них, произведения которого не могут быть прочтены народом, для которого он пишет. Это, может быть, и объясняет тот странный мир, им созданный, выкованный, с его персонажами, у которых только видимость существования. Писатель — космополит. Его космополитизм еще более примеча-

телен потому, что его творчество вне географических границ... Аллегорическое человечество, страны служат только декорацией.

Искусство Набокова-Сирина свободно. Никакое соображение, не относящееся к его творчеству его не останавливает. Его феноменальная стилистическая (литературная) виртуозность, секреты ремесла, которые он нам открывает с высокомерным равнодушием — могут иногда нас раздражать. Его игра может нам казаться напрасной и опасной, но победителей не судят, мы в нее втягиваемся вопреки нашим собственным понятиям о литературных приличиях — очарованные замысловатостью его почерка.

Сирин любит метафоры, но в смелом сверкании его фраз никакое слово не случайно, все дозировано, как хорошо составленный коктейль. Он злоупотребляет анимизмом. Если у героев его романов не хватает души, то предметы слишком очеловечены. Шкап похож на беременную женщину, нож вонзается в пухлое и белое тело книги... Он изменяет правилу Толстого, который переделывал слишком удачную фразу, чтобы придать ей больше естественности и который не мог описывать даму, идущую по Невскому, если такой дамы не было.

«Будем прежде всего сочинителями», написал мне когда-то Сирин, фокусник, любящий только чудеса, которые он сам творит.

Творческая сила у него поразительна, воображение его льется из бурного источника, Сирин мчится по своим произведениям и они кажутся написанными одним дыханием, одним усилием, одним темпом. Все его романы неизменно хорошо построены, из хао-

тичного начала вырисовывается повествование следующее определенным правилам, дисциплинированное холодной логикой. Каждая вещь на своем месте и, несмотря на обилие деталей, не лишенная ясности...

Мы можем приблизительно, конечно, сравнивать технические приемы Сирина с приемами Джойса, с лучшим Хаксли и, даже, с Жироду, с которым Сирина связывает несколько холодная умственность.

Если можно определить литературную технику Сирина, то внутренние тенденции его творчества многогранны и зачастую противоречивы. К каждой новой книге его надо «акклиматизироваться», запутывать нас — его, авторская, забава: когда он думает, что мы привыкли к его иронии и его скепсису, он позволяет себе нежную улыбку.

В его творчестве нет ничего устойчивого на что мы могли бы опереться. Никогда «я» его писательства не открывает «я» Сирина — человека. Холодный судья, не испытывающий любви к существам, им созданным, Набоков — Сирин отделяет их жизнь от своей.

Если мы начнем отыскивать корни, которые связывают Сирина с большими русскими писателями, то мы найдем смесь откровенности с типично русской жестокостью по отношению к себе самому. Сирин выбрал новый путь, чтобы сообщить нам, что он не обманут благополучием нашего мира и никогда им обманут не будет... Если он отбрасывает (вопрос темперамента) публичные крики Достоевского — он близок к Гоголю. Способы разные, цель одна и та же: жалость, так обнаженно выраженная Достоевским, сатирический смех Гоголя, ужас рассказов По, ста-

раются нас оторвать от нашего прекраснодушия, от нашего погружения в быт... Сирин выбрал себе оружием ироническую горечь хорошего тона, полное отсутствие жалости, сумасшествие, бесовскую улыбку.

Бес, или черт, зачастую скрывается в произведениях Набокова. Мы узнаем его в некоторых персонажах, обычно второстепенных. К тому же разве это не бесовское наваждение, эта ирреальность жизни, эти люди, которые только видимость людей, даже собака и то поддельная собака — в «Отчаянии».

После «Машеньки», «Короля, Дамы, Валета», романов довольно посредственных, Сирин в 1929 году издает первую значительную книгу. «Защита Лужина», это мастерски, конечно, рассказанная история потерянности, блуждания, моральных страданий слабого Лужина, одержимого шахматным миром. Лужин не найдет иного выхода из этого мира, убивающего все, что есть в нем живого — чем смерть, самоубийство.

И тут впервые мы встречаем соблазнителя: импрессарио Валентинова, еле заметного, запрятанного за кулисы действия, он появится в какой-то момент, чтобы играть роль, как будто и небольшую, но в сущности главенствующую, будет знаком соединения человека и его болезни, его зла. Какое лукавство, какая бесовская уверенность в словах сказанных по телефону жене выздоравливающего Лужина: «Шепните ему одно: Валентинов тебя ждет», говорит смеющийся голос... и голос «провалился в защелкнувшийся люк».

Валентинов только эскиз, который вырисуется ярче, позднее в «Рассказах 1930 года» в лице фокусника Шока: «Он не мог пропустить случай, чтобы

не сотворить обмана... изысканно хитрого» — Сам Шок был «мираж».

В каждой книге таинственный персонаж становится все менее безопасен и все более жесток. В «Камере Обскура», книге наиболее мрачной, которую Сирин написал до тех пор, Валентинов и Шок соединяются — превосходя его в жестокости — в Хорне, для которого все было «комментарием к его искусству».

Бессознательный цинизм достигает своей кульминационной точки в отношении Хорна к Кречмару, Отсутствие тепла, один из бесовских атрибутов имеется и у Хорна. А ключ к сомнениям самого Сирина находится в его книгах...

Мы найдем его и в «Отчаянии». Это страх быть обманутым в чем-то наиважнейшем, начальная неверность всего существующего.

...«Представьте себе что вы умерли и вот очнулись в раю, где с улыбками вас встречают дорогие покойники. Так вот, скажите на милость какая у вас гарантия, что это покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкий демон — мистификатор...»

В этом мире подтасовок, где всякий предмет, всякий человек может представлять любого другого, их отражать их искажая, родилась у Сирина обцессия тайны зеркал. Одно из них чудовищно раздувает, как жабу, отраженного человека, или растягивает его как макаронину... Другие зеркала в «Приглашении на Казнь» обращены в модную игру «неток», обратных зеркал, которые раздробляют (декомпозируют) реальность, но составляют из бесформенных предметов ви-

димость человека, а то и прелестные пейзажи, цветы и т. д.

«Приглашение на Казнь», которое, я надеюсь, скоро выйдет на французском языке, в моих глазах одно из наиболее значительных произведений нашего века. Петр Вицилли в своей статье «Возрождение аллегории» приравнивает его к «Мертвым душам».

Имея эпиграфом, «как сумасшедший считает себя богом, мы считаем себя смертными», «Приглашение на Казнь» переносит нас в вымышленное человеческое общество — вечное, потому что оно вне времени — и вводит нас в конфликт одного человека с этим обществом.

Человек, названный Цинцинатом, приговорен к смерной казни за странное преступление — его непрозрачность. Среди существ совсем прозрачных Цинцинат обладает секретом непрозрачности. Существа которые его осуждают могут быть определены словами Цинцината своей матери: «Вы только пародия». Адвокат Роман, сторож Родион, директор тюрьмы Родриг — отметим созвучие, как в галлюцинации, этих имен — представляют собою игры, символы, знаки...

Странность общего тона повествования как бы оттенена тончайшей точностью деталей, и Сирин тут показывает всю свою виртуозность. Сцена, где адвокат возвращается в камеру смертника, разыскивая свою запонку, жива как сама жизнь.

Или еще сцена прощания с семьей, которая входит к Цинцинату в сопровождении домашней утвари, мебели и даже стен его дома. Наконец персонаж мосье Пьера, палача, который воплощает дух Валентинова,

Шока, Горна, который передергивает в карты, показывает фокусы. Многословная речь его образец пошлятины. Г-н Пьер мучает Цинцината, морально преследует его своим вниманием, своей вежливостью. Он представляет Цинцинату, уже примиренному с неизбежностью, все самые низменные удовольствия от которых он будет оторван: «Еще многое придется покинуть: праздничную музыку, любимые вещички, вроде фото-аппарата или трубки, дружеские беседы... курение...»

Прошу прощения за эти длинные цитаты, но мне хочется чтобы читатель мог бы судить сам о ценности этой книги, которая должна выйти по-французски. Последнее письмо Цинцината, для которого Сирин впервые очеловечивает свое искусство и как бы пригибает его под тяжестью страданий живого человека, тут следует все привести:

«Может быть гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость (хозяйка еще не встала), быть может... ярмарочный монстр в глазеющем, безнадежно-праздничном мире, — я прожил мучительную жизнь, и это мучение хочу изложить — но все боюсь, что не успею» «...я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо»!.. «нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке, или короче: ни одного человека говорящего; или еще короче: ни одного человека...»

После обманных надежд на бегство и освобождение, после исполнения гротескных обычаев, как совместные визиты к отцам города палача и смертника или роскошного банкета, на котором они оба присутствуют, и фейерверка в честь казни — Цинцинат вступает на эшафот: «Я еще ничего не делаю — произнес

Мосье Пьер... и уже побежала тень по доскам, когда Цинцинат стал считать: один Цинцинат считал, а другой Цинцинат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета»... Затем Цинцинат встал и осмотрелся, зрители стали прозрачными, все рушилось, падало как театральные декорации, обращаясь в труху и Цинцинат «пошел... в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа подобные ему».

«Приглашение на Казнь» имеет множество интерпретаций, может быть разрезано на разных уровнях глубины. Аллегория, сатира, сопоставление воображаемого и реальности, страшная проблема жизни и вечности — во всяком случае большая книга большого писателя, которой надлежит занять место среди шедевров всемирной литературы.

⁂

Получив этот номер «Сите Кретьен» Набоков мне написал: «Я с интересом и умилением прочел Твою статью о «Приглашении на Казнь» — она во-первых прекрасно написана, а во-вторых очень умна и проницательна».

(Цитаты приведены в сокращенном виде)

«La Revue des Deux Mondes»
15 августа 1959 г. Париж.

НАБОКОВ

или

РАНА ИЗГНАНИЯ

(Перевод с французского)

Те, кто мог как я, прочесть в оригиналах — русских и английских — все или почти все произведения Владимира Набоокова, т. е. около пятнадцати книг, несколько рассказов, пьесу и стихи его, испытывают сегодня некоторое замешательство перед успехом, пришедшим к этому писателю со скандалом «Лолиты». Набоков стоит большего, чем споры, вызванные вокруг этого, не самого лучшего, его романа, Вырванный из-за скабрезности его сюжета из числа предыдущих книг и может быть и тех, которые за ней последуют, «Лолита» угрожает Набокову легкомысленным причислением его к эротическим авторам...

«Лолита» принесла Набокову деньги, но она искажает подлинное лицо писателя, интересного во многих отношениях. Очень жалко, что «Защита Лужина», его шедевр, переведенный Денисом Рошем и появившийся в 1933 году, не был замечен во Фран-

ции, как и «Соглядатай», напечатанный с тех пор в Евр Либр, «Камера Обскура» в 1934 г. или «Отчаяние» в 1937 г. (Две последние книги, впрочем, в переводе не позволяют оценить блистательный стиль Набокова). Другой его шедевр — «Приглашение на Казнь», был предложен (во Франции) нескольким издательствам и ни одним из них не принят. Вероятно из-за коммерческого успеха «Лолиты» мы можем теперь надеяться, что прочтем, наконец, эту книгу по-французски и думается, что многие, упивающиеся «Лолитой» будут разочарованы серьезностью и глубиною «Приглашения на Казнь».

Владимир Набоков — явление исключительное и интересное во многих отношениях. Никто лучше его не выразил, может быть даже бессознательно, беспокойство художника, вырванного из своей природной среды. Его творчество беспочвенно — хотя ни в одной из своих книг он открыто не говорит о феномене изгнания, пусть не новом, (патриарх изгнанников — Овидий) но принявшем небывалые размеры в наш век. Набоков выражает его не так сюжетом, как атмосферой и мельчайшими психологическими чертами — из которых выявляется внутренняя, подсознательная трагедия, какой-то кошмарной свободы, духовной и физической; его персонажи мечутся, заранее обреченные на неудачу и на небытие.

С другой стороны, история литературы не знает другого примера писателя, достигшего мастерства, создавшего персональный стиль и своеобразный ритм на двух разных языках. Поляк Конрад писал только по-английски. Труая, Роман Гари, Эммануил Бов и другие писатели русского происхождения (к которым

принадлежу и я) — только по-французски, как и американец Жюльен Грин. И Райнер Мариа Рильке, когда он хотел выражаться не на немецком языке, терял свое мастерство.

Больше двадцати лет Набоков писал только по-русски и ему случается еще писать на этом языке. Он выработал свой стиль, придал ему особую пластичность и ритм совершенно новый в русской литературе — скажем западный — может быть поэтому, переведенный на французский язык, Набоков кажется менее оригинальным. Уже сорокалетним он начал писать по-английски и если его книги на этом языке до сих пор не достигли тиража «Лолиты», с самого начала он был восторженно встречен англо-саксонскими критиками, Эдмундом Вильсоном и Грахамом Грином, которые приветствовали в нем новатора английской и американской прозы.

Я знала Набокова в то время, когда он подписывался Сириным, вероятно из-за того, что его отца, политического деятеля, тоже звали Владимиром. Ему было тогда тридцать с небольшим лет, он был худ и высок. Под большим лбом его насмешливые и внимательные глаза всегда как бы искали что-нибудь странное, что могло бы его позабавить, или вульгарное, пошлое, которое он немедленно прикалывал как бабочку к своей коллекции, впрочем с меньшей любовью — одной лапидарной фразой. Даже и плохо одетый — по бедности — он не терял элегантности. Сегодня на обложке «Лолиты» лицо его похоже на лицо американского профессора, маститого и обеспеченного. Тонкие губы сжаты, взгляд разочарован. Мы далеки от тощего эмигрантского поэта и так и ка-

жется, что его международная слава имеет привкус горечи.

В 1936 году, я, молодой литератор, сидела с моим почтенным другом Иваном Буниным в кафе на Елисейских Полях. Мы говорили о литературе. Те, кто читал литературные воспоминания русского нобелевского лауреата, вышедшие в издательстве Кальман-Леви, знают, что благосклонностью к своим современникам он не отличался. Новое поколение тоже не вызывало в нем интереса. Я произнесла имя Набокова-Сирина:

Бунин встрепенулся: «Чудовище, но какой писатель!»

Классик Бунин, отдавая дань таланту младшего собрата, не мог перед экстравагантностью искусства молодого Сирина, не считать его чудовищным. Для традиционалистов его «чудовищность» была двойной. Инстинктивно чувствуя гений своего родного языка и все его возможности, Набоков обращается с ним чрезвычайно своеобразно и рвет с традицией «естественности», довольно сильно укоренившейся у русских писателей. Ему нравится придавать легковесность величественной поступи русской прозы и, одновременно, украшать ее замысловатостью.

Он любит иногда излишние метафоры, он весело ищет странные фонетические соединения, его стиль не лишен маньеризма. Да, простота как будто все более делается врагом Набокова, по мере того как он удаляется от первой своей книги «Машенька».

Любитель парадоксов, Набоков непрочь — это теперь не так уже оригинально, «удивить буржуа», вы-

сказывая свое презрение к Достоевскому «писателю полицейских романов». Бальзак для него «глыба гипса». Он любит Пушкина, хотя пушкинская уравновешенность, великодушие и возвышенность у Набокова отсутствуют. Он любит Гоголя, которому он посвятил одну книгу, чтобы доказать, между прочим, что христианство Гоголя было самому Гоголю чуждо, и таким образом приблизить остроумно, но произвольно, автора «Мертвых Душ» к своей философской позиции.

Критики эмиграции, в то время когда русская эмиграция была в полном интеллектуальном расцвете, не замедлили оценить Набокова. «Дар воплощения на службе стилистической фантазии» писал Г. Адамович, «Сирин преимущественно художник формы, литературного приема», отметил внимательный Ходасевич, «Сирин самый оригинальный из писателей эмиграции» утверждал Г. Струве. И я думала тогда, как думаю и сейчас, что появление Набокова в русской литературе оставит на ней глубокий след.

Тема (в единственном числе) книг Набокова — так верно, что писатель всегда пишет одну и ту же книгу — очень характерна для его личной судьбы.

Фабула может быть разной — и воображения Набокову не занимать стать — но это всегда недоразумение, трагедия, не-существование.

В ледяной пустыне копошатся существа не совсем очеловеченные. К персонажам, им созданным, Набоков относится безучастно, поэтому им не хватает души. Как бы из-за ностальгии по человеку, Набоков очеловечивает предметы: — Шкап похож на беременную женщину, нож вонзается в белое, пышное тело книги.

Небесполезно, прежде чем изучать литературное творчество Набокова, знать его биографию и моральный климат, который определил его.

Набоков родился в богатой и культурной семье. Он был сыном либерального политического деятеля и имел какое-то особое счастливое детство и юность. Хочется сказать, что первые годы его были даже слишком счастливы: у него все было, включая зоркую, внимательную и почти почтительную нежность его родителей. Набоков жил в безоблачном мире. Ребенком у него были две страсти — они и остались: литература и лепидоптерия. Русская природа воспитавшая творчество великих русских писателей, его окружала и ее меланхолическая прелесть запечатлелась в нем навсегда. Лучезарный этот мир был разрушен до тла революцией, семья Набоковых сметена в эмиграцию. В Берлине его отец был убит пулей ультраправых террористов — пуля была предназначена не ему, а Милюкову: — т. е. опять — таки трагическое недоразумение.

Кроме этой драмы жизнь молодого писателя была похожа на жизнь тысяч других молодых эмигрантов и можно было даже считать его привилегированным, потому что он не участвовал в гражданской войне, в которой погибли или были искалечены многие его современники и еще потому что он смог попасть в Кэмбридж и там закончить свое образование, позволившее ему стать американским писателем.

Но тот факт, что Набоков был сравнительно привилегированным не исцеляет общую травму изгнания. Каждый на испытания и катастрофы отвечает по-своему. Одни сдаются, другие сражаются и побеждают или погибают в борьбе, третьи находят в себе

духовные силы, которые позволяют им игнорировать все, что извне их пригибает.

Набоков по призванию писатель и поэт, т. е. существо особенно впечатлительное, особенно уязвимое. Он никогда не мыслил себя иначе чем русским писателем, но он жил в Берлине. Надежда вернуться в Россию уменьшалась с каждым днем. Писать в эмиграции — это создавать в пустоте. Нет или почти нет издателей, нет или почти нет читателей. Молчание окружает писателя-эмигранта. Страна, для которой он пишет — не существует. «Легендарная Россия моего детства» скажет Набоков о родине, ставшей для него мифом. Но рабочий инструмент писателя — его материнский язык, а язык не только способ выражения, но и форма мысли, оттенки чувств.

Для заработка Набоков дает в Берлине уроки английского языка, тенниса и, кажется, бокса. Он женится, у него рождается сын. Книги его появляются, не вырывая его из бедности. С каждой новой книгой все отдаляется от него Россия. Скоро нельзя будет догадаться к какой стране принадлежат персонажи им созданные. Как их окружение, они становятся анонимными, вне эпохи, вне политических перемен. Его искусство делается все холоднее, все абстрактнее. И только в его стихах — муза не любит контроля — мы находим человеческое тепло, эмоции, озарение и грацию пейзажей, так же как и нежные призраки добрых семейных гениев его детства.

Так, в 1939 году, под псевдонимом Шишкова, как будто для того, чтобы лучше зашифровать его потаенный мир, выходят два стихотворения Набокова, которые я здесь привожу, как человеческий документ:

. . . .
Тот, кто вольно отчизну покинул
волен выть на вершинах о ней
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Шишков-Набоков готов навсегда затаиться и без имени жить, чтобы не встречаться с родиной даже во сне, он отказывается от всяческих снов, он готов променять на чужой язык свой родной язык, единственное, что у него есть. Он умоляет Россию за это пожалеть его и не всматриваться в него «дорогими слепыми глазами».

В это время Набоков и его семья уже жили во Франции, так как в гитлеровской Германии им места не было. Бедность последовала эа ним и во Францию, как и отчаяние. Позднее в Соединенных Штатах, когда Набоков напишет свои воспоминания, мы увидим что так велика была его душевная пустыня на нашем континенте, что ни русские, ни французы, ни англичане не найдут в них теплого отклика. Он забудет даже друзей его черных лет.

В 1940 году Набоков отправляется в Америку и становится профессором русской литературы в одном из университетов. С тех пор денег на оплату счетов газа и электричества не будет ему нехватать. Но не без боли он переходит на английский.

Его двойник — его alter ego — Набоков любит двойников — ему напоминает в стихотворении, написанном в 1943 году, что он «страны менял как фальшивые деньги», и

...пописывал
не без блеска, на вовсе чужом языке
и припомни особенный привкус анисовый
тех потуг, те метанья в словесной тоске...

Но поэт, который «менял страны как фальшивые деньги», «торопясь и боясь оглянуться назад», хранит в себе тайну, о которой он нам не расскажет. Из-за того, что ему открылась «пустая мечта о читателе, теле и славе». он вырос вне тела, он живет без отклика.

Только в своих стихах Набоков нам сообщает о своей мучительной мутации. А так он появляется перед нами закованным в броню безлюбовного мира, который он сам создал. И только случайный взгляд брошенный им на прошлое заставляет его остановиться перед картиной рая его детства и тогда он находит самые нежные слова, чтобы его отразить.

«Сознаюсь я не верю в время». «Я люблю складывать мой волшебный ковер... так чтобы узоры его приходились один на другой».

Набоков печатается в «Нью-Йоркере», что равнозначно признанию. Книги его выходят, он получает премию. Широкий круг читателей все же его не знает до того дня, когда обманутые шумихой поднятой вокруг «Лолиты», множество людей открывает писателя Набокова, его не понимая. Ему 70 лет, у него фортуна, у него слава.

Набоков создал беспощадный мир, в котором «Лолита» не больше чем одно звено. В этом мире ничего

приятного, ничего достойного любви, кроме блещущего фантазией стиля, быстрого и сухого как треск фейерверка. В нем нет доброты, в нем все кошмар и обман. Для тех, кто любит интеллектуальное спокойствие, лучше выпить отраву, чем читать Набокова. Из-за того, что он не смог победить свое собственное испытание никаким иным способом, как литературным выражением отчаяния, Набоков увлекает нас за собой в свои мучения.

Обещания его детства не сбылись. Значит все обман, «веселый безбожник... в этом мире кишащем богами», Набоков хочет чтобы мы участвовали в его веселом разгуле разрушения, что не что иное как тактика, дымный занавес над его гневом...

В романе «Отчаяние» мы читаем: «Представьте себе, что вы умерли и вот очнулись в раю, где с улыбкой вас встречают дорогие покойники... Какая у вас гарантия, что эти покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь демон-мистификатор... и вечно, вечно, вечно душа будет пребывать в сомнении». Из этого мира подмен, где каждая вещь может заменить собой другую, где даже собака может стать фальшивой собакой, рождается у героев Набокова обцессия зеркал.

«Приглашение на Казнь» шедевр абсурда, но также аллегория, — как все что Набоков пишет. В этой книге мы найдем модную игру негативных зеркал «неток».

Пленником этих зеркал стал и сам Набоков. Нет сомнения, что он испытал влияние и Джойса, и Кафки, главным образом потому, что они были ему созвучны, что он был готов их принять в себя.

Набоков утверждает, что он агностик и даже не без некоторой старомодной аффектации. Зато демон всегда присутствует на написанных им страницах. «Защита Лужина» (которая вместе с «Приглашением на Казнь» лучшие из его книг) уже говорит об одержимости. Слабый Лужин, потерянный в абстрактном мире шахматной доски (Набоков и сам играет хорошо в шахматы) не видит другого выхода, чтобы выйти из одержимости, как смерть, самоубийство. Он почти спасен своей женой, но Соблазнитель от него не отступает в лице его импрессарио Валентинова: «Скажите ему только» говорит по-телефону голос — с каким бесовским лукавством и уверенностью — «Валентинов тебя ждет» и голос исчезает, как будто захлопнулся люк... В другом рассказе фокусник Шок играет эту роль. «Он не мог пропустить случай, чтобы не сотворить обмана, мелкого, ненужного, но изысканно хитрого». Сам Шок был: «Мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств».

С каждой новой вещью персонаж вырисовывается все яснее. В «Камере Обскуре» это Горн, который всегда искал пищу своему любопытству. Все было для Горна «комментарием к его искусству».

Когда знаешь творчество Набокова, задумываешься — не приносит ли эта черная литература, истинный смысл которой он скрывает от наивного читателя, самому писателю ту же радость, которую ощущал Горн «Камеры Обскура», видя слепого, садящегося на свежепокрашенную скамейку?

«Приглашение на Казнь», книга о которой во время ее появления критик Бицилли сказал, что она так же значительна как «Мертвые Души», переносит нас в воображаемое и вневременное общество. Человек,

названный Цинцинатом, осужден за странное преступление — он непрозрачен. Среди совершенно прозрачных существ Цинцинат, как бы он тщательно это ни скрывал, ИНОЙ.

Те, которые его осуждают, могут быть определены словами героя, обращенными к его матери: «Вы пародия». Адвокат Роман, сторож Родион, директор тюрьмы Родриг — заметим эту галлюцинационную сюиту звукоподобия — символы.

Странность повествования еще подчеркнута точным описанием деталей. Как сцена, в которой адвокат осужденного возвращается в камеру, чтобы найти потерянную запонку. «Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая». Или сцену прощания Цинцината с семьей. Семья приходит на свидание с домашними предметами, мебелью и даже со стенами бывшего его дома (Джойс). Палач Пьер — увеличенная реплика Валентинова, Шока и Горна. Мосье Пьер жулит в карты и в шахматы, показывает фокусы, он говорлив — болтовня его набор пошлостей. Мосье Пьер мучает Цинцината морально прежде чем отрубить ему голову. Он вызывает перед глазами смертника, уже примирившегося с неизбежным, все жизненные удовольствия — самые низменные — этот чудесный мир нам придется покинуть «и все, что в нем находится: праздничную музыку, дружеские предметы, как фотографический аппарат или трубки или дружеские разговоры». Но кто же Смертник? Может быть «гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость... Ярмарочный монстр в глазеющем, безнадежно-праздном мире, я прожил мучительную жизнь и это мучение хочу изложить».

И дальше Цинцинат утверждает, что он знает, предчувствует какую-то тайну. «Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо... но меня у меня никто не отнимет»...

В детстве снился Цинцинату одухотворенный и благородный мир... А теперь, теперь «беда, ужас, безумие». Во всем мире больше нет ни одного человека, говорящего на языке Цинцината, да и вообще в мире нет человека... После обманутой надежды на освобождение, после того как были исполнены гротескные обычаи страны, как визиты, которые смертник и палач делают отцам города или торжественный банкет, на котором оба они присутствуют как почетные гости, приходит час казни.

«Я еще ничего не делаю» произнес Мосье Пьер... и уже пробежала тень по доскам, когда громко и твердо Цинцинат стал считать: один Цинцинат считал, другой Цинцинат уже перестал слушать»...

«Зачем я тут? отчего так лежу? Цинцинат привстал и осмотрелся», всюду было смятение, присутствующие при казни стали «совсем прозрачны», разрушилась и площадь, все декорации жизни и Цинцинат пошел среди развалин и урагана «туда», где судя по голосам, стояли существа подобные ему».

На минуту сардоническая улыбка стирается и дает место человеческому страданию — если не состраданию.

Я не думаю, что «Приглашение на Казнь» такое же морально возвышенное произведение как «Мертвые Души». Для Гоголя за уродливыми масками зла и пороков стоит имманентность Добра. Если бы Бог не

находился в зрительном поле Гоголя, он не захотел бы высмеять грех. Набоков иллюстрирует с брио виртуоза мир отчаяния Кафки и украшает небытие цветистыми гирляндами своих литературных поисков.

«Приглашение на Казнь» легко поддается самым разным толкованиям, может быть распластано на разные слои. Это аллегория, сатира, противопоставляющая воображаемое и реальность, но она не переходит определенную границу. И это, в своем жанре, произведенье, явно заслуживающее вхождения в мировую литературу.

Американское творчество Набокова во всем похоже на его русское. Они близнецы. Это двуглавая птица в разных криках выражающая одно и то же. И фон и форма подобны и в «Подлинной жизни Себастьяна Найта» мы найдем мотивы «Отчаяния».

Не забудем, что «Лолита» — острая сатира американского быта и странно, что в США никто этого не заметил. Набоков с наслаждением описывает пошлость выражений и пошлость человеческих типов, как будто ведь континент, который Гумберт и его пленница-тюремщик пересекают в своем безнадежном путешествии, не что иное, как громадная часть ничему не служащего бесполезного механизма. Заметим еще, что как в «Зази в Метро» Куено, где только один иностранец правильно говорит по-французски, так и в «Лолите» иностранец Гумберт единственный, говорящий на «королевском» английском языке, на котором туземцы не выражаются.

Наконец, в иллюзионисте Набокове постараемся

найти скрытый под аллегорией смысл. Может быть Гумберт художник, старающийся схватить, присвоить — хорошее старинное слово — примыслить — какую-то тайну, таящуюся в нем самом и которую он сам скорее угадывает чем знает. Выраженная, загрязненная словами, ими преданная тайна уже сама на себя не походит. Тут напрашивается сравнение с романом «Старик и Море» Хемингуэя. Лолита, как Цинцинат, — не персонажи из тела и крови. Не представляет ли она собой произведение искусства, которое его создатель, изнемогая от усилий, силится привести на сушу, таща его за своей лодкой? На берегу морское чудовище всего-навсего бесформенная масса, изуродованная укусами других рыб — читателей и критиков — изъеденная морской солью, жалкий, отвратительный трофей!

На рекламной обложке «Лолиты» автор мог бы написать «не обманитесь» или «не попадитесь на крючок».

Не удивительно ли, что два русских писателя, Пастернак и Набоков, и по способу выражения и по своей устремленности во всем остро-противоположные, стали в один и тот же год бестселлерами в Соединенных Штатах.

Первый выражает на нарочито простом языке то, что в русском народе есть вечного, второй с западной утончонностью — кошмар человечества без руля и без ветрил...

Жак Круазе
(Зинаида Шаховская)

После этой статьи Набоков меня «не узнал» при нашей встрече в Издательстве Галлимар.

ACHEVE D'IMPRIMER SUR LES PRESSES
DE LA SOCIETE D'IMPRIMERIE
PERIODIQUES ET D'EDITION
32, RUE DE MENILMONTANT, 75020 PARIS
EN JUILLET 1979



Zinaïda SCHAKOVSKOY

До войны Зинаида Шаховская сотрудничала в эмигрантских журналах и западной прессе. С 1949 г. до 1968 г. она писала исключительно по-французски. За этот период в Париже вышли 16 ее книг: романы, исторические работы и четыре тома воспоминаний (за 1910-1950 годы). Многие из этих книг были переведены на другие языки. Член Союза французских писателей, Пен-Клуба и Международной Ассоциации литературных критиков. Она лауреат Премии Парижа за 1949 г. и дважды лауреат Французской Академии.

По-русски:

Книги изданные на русском языке:

«Уход». Стихи, 1934 г.
«Дорога». Стихи, 1935 г.
«Перед Сном». Стихи, 1970 г.
«Отраженья». Литературные мемуары о русских зарубежных писателях 20-30-х годов. Имка-Пресс, 1978 г.
«Рассказы, статьи, стихи». Имка-Пресс, 1978 г.

Photo J. Nussberg et P. Bourdioukov